



СМЕНА

№ 7 АПРЕЛЬ 1976

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА», МОСКВА

**ПРЕДНАЧЕРТАНИЯ
ЛЕНИНСКОЙ
ПАРТИИ —
В РАЗМАХЕ
НАРОДНЫХ
СВЕРШЕНИЙ**



ИТОГИ МИНУВШЕГО ПЯТИЛЕТИЯ, ВЕЛИЧИЕ СВЕРШЕННОГО, НАМЕЧЕННАЯ XXV СЪЕЗДОМ КПСС ГРАНДИОЗНАЯ ПРОГРАММА СОЗИДАНИЯ НА БУДУЩУЮ ПЯТИЛЕТКУ СТАЛИ ЯРКИМ И УБЕДИТЕЛЬНЫМ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ ТОГО, ЧТО КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ УВЕРЕННО ВЕДЕТ СОВЕТСКИЙ НАРОД К СВЕТОЙ ЦЕЛИ — КОММУНИЗМУ.

„НАША ДОРОГА — ЭТО ДОРОГА ЭТО — ДОРОГА НАР

XXV СЪЕЗД КПСС

Величайшим уроком ленинизма, школой непреходящего политического и нравственного значения, вдохновляющим примером служения своему народу и Родине стал для Ленинского комсомола, советской молодежи исторический XXV съезд КПСС. Горячо одобряя внутреннюю и внешнюю политику родной Коммунистической партии, каждый молодой патриот черпает в решениях съезда глубокий творческий заряд, делая все, чтобы в общем рабочем строю еще выше поднять экономический потенциал Советского государства, уровень благосостояния и культуры народа, еще теснее скрепить узы братства и дружбы с тружениками всей земли.

Десятая пятилетка, набирая размах, шагает по стране. Партия определила ее как пятилетку качества и эффективности. Ленинский комсомол, советская молодежь прилагают к этой стратегической формуле нашего движения вперед весь энтузиазм и душевный порыв молодости, отвечают ударным трудом на доверие партии.

Среди делегатов XXV съезда КПСС было немало молодых передовиков производства. Мы попросили некоторых из них рассказать о работе партийного форума, о своих планах и делах.



ПРАВДЫ, ДОРОГА СВОБОДЫ, ОДНОГО СЧАСТЬЯ" Л.И. БРЕЖНЕВ



Михаил МИНЬКИН,
токарь Первомайского тормозного завода,
делегат XXV съезда КПСС,
кавалер ордена «Знак Почета»,
лауреат премии Ленинского комсомола.

ДЕЛО РАБОЧЕЙ ЧЕСТИ

Не думал я, что в свои 26 лет стану участником такого великого события, как XXV съезд партии. Сейчас на душе одно: как в повседневной жизни оправдать звание делегата съезда. Ведь какие люди работали вместе со мной в дни съезда! Сколько опыта, разума, воли у каждого!

Съезд партии обогатил меня на всю жизнь. Стремление у меня такое: работать еще лучше, вкладывать в дело все свои способности, помогать младшим, учиться у старших. В дни съезда, слушая выступления делегатов, я мысленно возвращался на свой завод, к своей заводской проходной, что в люди вывела меня.

От нас до Горького, областного центра, — 190 километров. Леса, долины, овраги — красива наша природа. И завод красивый: он обновляется, реконструируется, получает вторую жизнь. В нашем экспериментальном цехе много мастеров

своего дела, умеющих мысль конструктора превратить в изделие. Без творчества работать невозможно. И хотя часто бывает трудно, получаешь полное удовлетворение, когда справляешься со сложным заданием. А профессия у нас благодарная, работаем на наш железнодорожный транспорт, где технический прогресс — дело естественное и уже обычное. Мы создаем авторежимы, осевые датчики, компрессоры... Я многим обязан своим наставникам: Урутитину Юрию Арсентьевичу (он и сейчас у нас старшим мастером) и Зайцеву Михаилу Даниловичу (ныне работает на КамАЗе) — это они обучали меня, наставляли на путь, помогая добиться высшего — шестого — разряда, наставляли не только в мастерстве, но и в жизни. Рядом со мной работает и брат (у него пятый разряд) и жена — правда, она не универсал, а пооперационник... Всех нас держит одно

дело, большое и сложное, — токарное дело. И, конечно, перед каждым из нас, уже овладевшим профессией, стоит задача — научить других... Я теперь сам наставник. Перед отъездом в Москву выпустил на самостоятельную работу очередного своего воспитанника, недавнего десятиклассника Сашу Катюсова — как раз присвоили ему второй разряд... Нет, не рвется рабочая цепочка, крепнет в сцеплении! Долгое время я был заместителем секретаря комсомольской организации цеха, накопил определенный опыт работы с новичками. И сейчас, вернувшись к своему станку, в цех, делаю все для того, чтобы каждый молодой, начинающий станочник понял: чтобы хорошо работать, надо любить свое дело и быть грамотным! У меня среднее техническое образование, окончил техникум, специальность в дипломе — обработка металла резанием, но понимаю: достигнутое не

потолок, надо учиться дальше. И у каждого должно быть это желание. Иначе нельзя. Уже началась десятая пятилетка — пятилетка качества и эффективности, у нее свой счет к каждому работнику. Для нас эта задача звучит конкретно: работать без брака, сдавать продукцию с первого предъявления, выполнять нормы выработки на 120—125 и более процентов. Если взять наш цех, то в самом скором будущем нам предстоит новое задание: будем делать поршневые компрессоры для тяжелых поездов, которые пойдут по БАМу! Можно ли в таком деле недодумывать и недоработывать? Исключено!

В докладе «Отчет Центрального Комитета КПСС и очередные задачи партии в области внутренней и внешней политики» Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Леонид Ильич Брежнев подчеркнул: «Знаменательно, что с первых дней десятой пятилетки развернулось всенародное социалистическое соревнование под лозунгом: «Повышать эффективность производства и качество работы во имя дальнейшего роста экономики и народного благосостояния!»»

От имени своих товарищей могу сказать, что соревнование во имя таких целей будет крепнуть день ото дня!

Решения исторического XXV съезда КПСС открывают нам радость и широкую перспективу, налагают большую ответственность. Ведь от того, как мы будем работать, зависит благосостояние советского народа, мощь и счастье нашей любимой Родины. Молодые рабочие сделают все для того, чтобы планы Коммунистической партии воплотились в жизнь.

Наша обложка:
Огни Большой химии.

Фото
Владимира
ЧЕЙШВИЛИ.



1 XXV СЪЕЗД КПСС.

6 РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС ВЫПОЛНИМ!
«КОГДА В ТОВАРИЩАХ СОГЛАСЬЕ ЕСТЬ...».
Фотоочерк Славы ТАЙНСА и Владимира ЧЕЙШВИЛИ.

8 Стихи Юрия АДРИАНОВА.

9 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ.
Геолог Николай УРВАНЦЕВ.

12 «ПОДКОВА НА СЧАСТЬЕ».
Лирический репортаж Михаила СМОРОДИНОВА

16 «МОЙ БРАТ ВАЛЕРИК».
Рассказ Людмилы УВАРОВОЙ.

19 ПОЧТА «СМЕНИ».

20 ЧЕМПИОНЫ О СЕБЕ .
Александр ЯКУШЕВ, заслуженный мастер спорта:
«Я — СПАРТАКОВЕЦ».

23 НОВОЕ ИМЯ.
Стихи Натальи ВОРОБЬЕВОЙ.

24 Николай ВОРОНОВ.
«МОСТ ЧЕРЕЗ ПРОПАСТЬ».

28 Анатолий ЖАРЕНОВ.
Повесть «ФАМИЛЬНАЯ РЕЛИКВИЯ».

31 СКАЗКИ БРЯНСКОГО ПАРКА.

Главный редактор А. А. Лиханов
РЕДКОЛЛЕГИЯ: В. С. Абашин, А. П. Кулешов, В. В. Луцкий
(заместитель главного редактора), В. Г. Победоносцев (ответственный секретарь), Р. И. Рождественский, Е. И. Рябчиков, В. А. Саюшев, Г. В. Семенов, А. П. Серeda, С. С. Смирнов, А. Б. Стуков
(главный художник), Д. Н. Филиппов.

Художник О. С. Теслер. Технический редактор Л. И. Курлыкова.

Издательство «Правда». «Смена». 1976 г.



ДЕЛЕГАТОВ И ГОСТЕЙ СЪЕЗДА ПРИВЕТСТВОВАЛИ ВОИНЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР И ЮНЫЕ ПИОНЕРЫ.



Елена ГАЙКИНА,
штукатур треста «Промстрой»
Главульяновскстроя,
делегат XXV съезда КПСС,
лауреат премии Ленинского комсомола.

И ЛУЧШЕ И БОЛЬШЕ

Я — строитель. Я горда своей древней профессией, которая сегодня приносит радость тысячам, миллионам советских людей, чье имя новоселы. На XXV съезде КПСС была названа внушительная, впечатляющая цифра: за минувшие пять лет жилищные условия были улучшены пятидесяти шести миллионам человек. Я горда тем, что в этом большом достижении советских строителей есть доля труда моего и моих товарищей. Ежедневного труда. Привычного. Обыденного. Но именно ежедневный труд — привычный и обыденный! — труд шахтеров и хлеборобов, строителей и сталеваров, ученых и космонавтов позволил сегодня сказать: к экономическому потенциалу, на создание которого ушло почти полвека, мы смогли добавить равный ему всего за десять лет.

С высокой трибуны съезда много раз подчеркивалось, что быстрый рост производительности труда, резкое повышение эффективности всего производства — важнейшие составные части экономической стратегии партии. Совсем недавно наша бригада решила поддержать почин бригады каменщиков СМУ-22 треста «Промстрой» Главульяновскстроя, которой руководит Иван Григорьевич Москви-

чев. Почин этот таков: «Пятилетке эффективности — наивысшая производительность труда каждого строителя». Своевременность и важность такого почина сомнений не вызывают. В Отчетном докладе ЦК КПСС съезду Коммунистической партии указывалось, что именно «повышение производительности труда должно обеспечить примерно 90 процентов прироста промышленной продукции, весь прирост продукции в сельском хозяйстве и строительстве».

Сегодня мы можем сказать с уверенностью, что наш почин — не пустая фраза, не лозунг, который вывешивают в цехе или на стройке и в тот же день привыкают к нему, забывают, даже внимания не обращают, (что и говорить, бывает и такое...). За этим починком — гордость своей профессией. За этим починком — умелые руки строителей и их горячие сердца. За этим починком, наконец, — трезвый расчет своих возможностей, без которого нельзя приниматься ни за какое дело.

Когда ты проходишь по улицам города и почти на каждой из них видишь знакомые здания, в которые вложен твой труд, твое умение, разве не почувствуешь гордость за свою профессию? Нет, недаром в песне



поется: «...древняя профессия строителя—на свете самая отличная профессия!» Умелые руки? Ежегодно в Главуляновском строю проводятся конкурсы «Лучший по профессии». В прошедшей пятилетке победителями этих конкурсов в разные годы была и я, были и мои подруги по бригаде штукатуров—Рая Кудрина, Маша Скачкова, Рая Федорова.

Ну, а трезвый расчет? Судите сами: в первый год пятилетки каждый член бригады за смену отштукатуривал не более восьми квадратных метров. Задумались: а сможем ли больше? Посчитали, подумали, решили: сможем! И теперь производительность выросла до тринадцати-четырнадцати квадратных метров за смену. Выросла благодаря замене ручного труда механизированным, благодаря внедрению новой технологии. Именно за это мне была присуждена премия Ленинского комсомола. Но большую честь быть лауреатом комсомольской премии равно разделяют со мной все члены бригады, все тридцать три человека во главе с бригадиром Ибрагимом Хабибулиным.

Говоря о пятилетке качества, Леонид Ильич Брежнев напомнил: «Мы, конечно, не забываем и о количестве». Да, мы уже подумываем о большей сменной норме—шестнадцать квадратных метров. Но и она не предел. А как же иначе? Ведь контрольная цифра по строительству жилья на будущую пятилетку—пятьсот пятьдесят миллионов квадратных метров! Мы должны сделать все, чтобы реализовать грандиозные планы партии.

«Строить быстро, экономично и на современной технической основе—вот слагаемые высокой эффективности в капитальном строительстве. И мы уверены, что многомиллионная армия строителей будет работать именно так». Это слова товарища Л. И. Брежнева, произнесенные им с трибуны Кремлевского Дворца съездов. В них огромное доверие партии. Мы не можем не оправдать его.

Кулайхан ШОЙБЕКОВА,
швея-мотористка Алма-Атинского
объединения имени Ю. Гагарина,
делегат XXV съезда КПСС,
депутат Верховного Совета СССР,
лауреат премии Ленинского комсомола.

НАШЕ ЗАВТРА

В жизни каждого из нас обязательно есть дело, за которое отвечаешь только ты, и никто другой. Деталь, которую ты обрабатываешь, поле, на котором выращиваешь хлеб... И от того, как ты делаешь свое дело, зависит и наше СЕГОДНЯ и наше ЗАВТРА. От этого зависит выполнение грандиозных, но вполне реальных задач, выдвинутых XXV съездом КПСС, в работе которого мне довелось участвовать.

Определяя главные направления развития экономики нашей страны на десятилетку пятилетку, Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев говорил в Отчетном докладе о том, что повышение благосостояния трудящихся неотделимо от более полного обеспечения населения высококачественными товарами народного потребления, способными удовлетворить постоянно растущие требования советских людей. Я вспоминаю об этом в первую очередь потому, что я работник легкой промышленности. Как коммунист, облеченный доверием товарищей, пославших меня на съезд, я отвечаю за выполнение намеченной партией программы в этой области. И не только в рамках моей бригады, но и в масштабах объединения, всей отрасли в целом.



Годы, проведенные в швейном объединении, носящем ныне имя Юрия Гагарина, сделали меня не только мастером, но и научили смотреть на свою работу как на очень важную для общества. Я всегда очень переживаю, когда вижу человека в плохо сшитом костюме или платье. И пусть повинна в этом не я, а все же стыдно становится мне перед этим человеком.

Перед отъездом в Москву я зашла в центральный городской универсам: пальто последних моделей с маркой нашего объединения почти не было—их раскупают сразу после поступления в магазин. Как этому не порадоваться! Но пришлось все, кто считает себя патриотом своего дела. И прежде всего коммунисты и комсомольцы.

Объективности ради замечу: швейники не всегда виноваты в том, что готовое платье не находит спроса у покупателей. Если смежные предприятия поставляют

материал неинтересной расцветки, если материал этот низкого качества, груб, легко мнется, то, что бы ты из него ни сшил, изделие покупателя не найдет. Поэтому я и мои товарищи видим в улучшении качества выпускаемых тканей один из главных путей решения задач, поставленных перед огромной армией работников легкой промышленности съездом партии. Комсомольский актив ткацких предприятий должен взять под строгий контроль внешний вид своей продукции, ее носкость, прочность.

Со своей стороны, мы приложим все усилия, чтобы пальто, которые мы шьем, были элегантными, красивыми, современными. Дело это, конечно же, непростое, тут одного желания мало. Чтобы всегда быть на высоте положения, необходимо постоянно совершенствовать технологию раскроя и пошива, модернизировать оборудование, осваивать передовой опыт, работать творчески. Думаю, что это по плечу людям, рядом с которыми я тружусь.

В докладе Леонида Ильича Брежнева на съезде есть прекрасные слова: «Говоря о больших делах нашего народа, нельзя не сказать о том, какую роль в них играет советская женщина. Ее самоотверженность и талант во многом обязана наша Родина своими достижениями и победами. И в решение тех важных задач, которые наметит наш съезд на будущее во всех сферах общественной жизни, большой вклад, безусловно, внесут наши славные женщины».

Высокая оценка нашего труда обязывает нас с еще большей ответственностью относиться к личному производственному плану. Я приняла обязательство выполнить пятилетнее задание за четыре года, выпускаемая изделиями только отличного качества. Такие же обязательства приняли мои подруги—Хамида Арыстангалиева, Лидия Шибанова, Анна Хипашвили, Ирина Гейнрихс, Рысуби Абдыбаева. Ударный труд стал нормой нашей жизни.

Сергей КУЗНЕЦОВ,
токарь Воронежского завода
горно-обогатительного оборудования,
делегат XXV съезда КПСС,
кавалер ордена «Знак Почета»,
лауреат премии Ленинского комсомола.



ВЕЛИКАЯ ЦЕЛЬ



В ПЕРЕРЫВАХ МЕЖДУ ЗАСЕДАНИЯМИ СЪЕЗДА.

Фото Дмитрия БАЛЬТЕРМАНЦА,
Алексея ГОСТЕВА,
Альберта ЛЕХМУСА,
Михаила ХАРЛАМПИЕВА.

Утро 24 февраля 1976 года запомнится мне на всю жизнь. Это утро не было похожим на другие. Хотя календарь уже напоминал о том, что идет последний месяц зимы, над Москвой в совершенно безоблачном голубом небе поднималось яркое солнце. Было прохладно, но теплые лучи его уже согревали башни и древние стены Кремля, брусчатку величественной и нарядной Красной площади. Я запомнил все это так хорошо потому, что в то утро пришел на Красную площадь очень рано. Хотелось несколько минут побыть одному в торжественной тишине рядом с Мавзолеем В. И. Ленина, человека, с чьим именем связано рождение Коммунистической партии — могущественной силы и опоры нашего общества, партии, которая вот уже в двадцать пятый раз созывает свой съезд.

В то утро по Красной площади в Кремлевский Дворец съездов шли с делегатскими мандатами люди разных поколений, разных профессий, разного жизненного опыта, шли те, кто в октябре 1917 года штурмовал Зимний дворец, и те, кто боролся против контрреволюции и иностранной интервенции в годы гражданской войны, и те, кто претворял в жизнь величественные планы первых пятилеток, и те, кто бился с врагом человечества — гитлеровским фашизмом. По площади шли рабочие и ученые, колхозники и общественные деятели, космонавты и писатели, молодые гвардейцы девятой пятилетки — шли подводить итоги сделанного за минувшее пятилетие и наметить конкретные задачи нового этапа коммунистического строительства.

Точно волны все нарастающего океанского прибоя, прокатились по залу аплодисменты, когда Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев поднялся на трибуну. С неослабным вниманием слушали делегаты Отчетный доклад ЦК КПСС съезду. И самое первое впечатление было такое, будто мы поднялись на большую высоту и перед нами открылись неоглядные просторы Родины, наше замечательное сегодня и еще более прекрасное завтра. В докладе сконцентрированно выражена величественная программа жизни советских людей на ближайшие пять лет, неуклонного и стремительного роста материального и духовного уровня нашего общества, всестороннего расцвета человеческой личности. Это программа динамичного развития общественного производства, повышения его эффективности, ускорения научно-технического прогресса, роста производительности труда, всемерного улучшения качества работы. Такова суть нашего неизменно поступательного движения вперед.

Перечитывая строки Отчетного доклада ЦК КПСС съезду, все мы вновь и вновь убеждаемся в том, что Коммунистическая партия, олицетворяя собой живую ленин-

скую мысль, выдвинула перед советскими людьми грандиозную программу действий, основанную на безграничной вере в творческие, созидательные силы масс. Что же мы должны делать, чтобы претворить эту программу, намеченные партией планы в жизнь, в реальность? Ответ, по-моему, только один — трудиться. Потому что труд — источник всех богатств, и каждый советский человек своим трудом приближает торжество коммунизма. Находясь на съезде, все мы, делегаты, знали, чувствовали, что те слова, которые произносились с трибуны, тут же отдавались многозвучным эхом на заводах и фабриках, на колхозных полях и новостройках. Помню, на второй день работы съезда я в перерыве прямо из Кремлевского Дворца позвонил на завод. К телефону подошел начальник нашего цеха А. Б. Иванов. Первые слова, которые он сказал мне, были: «На заводе праздничное, приподнятое настроение. Все без исключения участки, смены перевыполняют норму выработки на 10—15 процентов!»

Бывают в жизни человека моменты, когда его охватывает особое, не передаваемое словами волнение. Таких моментов в моей жизни было два — когда я узнал, что мои товарищи избрали меня делегатом XXV съезда партии, и когда услышал с трибуны съезда слова Л. И. Брежнева: «...Называя наше время временем великих свершений, мы отдаем должное тем, кто сделал его таким, — мы отдаем должное людям труда».

Я родился в рабочей семье, мои родители — ветераны труда. Уже более десяти лет сам работаю на заводе, вместе со мной в цехе трудятся младший брат и жена. И потому мне особенно приятно было услышать эти слова Генерального секретаря ЦК нашей партии, в которых дана высочайшая оценка деятельности советского рабочего человека. Рабочий класс делает все от него зависящее, чтобы и в десятой пятилетке оправдать доверие партии, трудиться во имя дальнейшего процветания нашей Родины.

Труд становится радостью, когда человек видит высокие цели своего труда. «Высшей среди них, — подчеркнул на съезде Л. И. Брежнев, — был и остается неуклонный подъем материального и культурного уровня жизни народа». Но все мы сознаем, что само по себе ничто не приходит, никакие блага с неба не падают. Вот почему так важно, чтобы уже сегодня каждый задумался над тем, какой личный вклад внесет он в выполнение десятой пятилетки.

Убежден, что нет человека в нашей стране, который, читая материалы съезда, глубоко и заинтересованно вдумываясь в них, не нашел бы там положений, которые касались бы его самого. Например, мы с

товарищами по цеху, когда я вернулся из Москвы, прежде всего обсудили задачи, которые съезд поставил перед работниками тяжелой промышленности. У меня в делегатском блокноте записано все, что так или иначе относится к нашей отрасли. Вот одна такая запись: в десятой пятилетке намечается довести производство стали до 160—170 миллионов тонн в год. Перед войной Советский Союз производил всего 18 миллионов тонн, и тем не менее мы одержали победу. Сравните эти две цифры, и легко поймете, насколько могущественнее стало теперь наше государство. Причем эта сталь нужна нам не сама по себе. Она нужна для того, чтобы сделать из нее еще больше высокопроизводительных станков, машин, механизмов, которые будут работать на пятилетку. Это наша прямая обязанность и наше кровное дело.

Завод, на котором я работаю, выпускает оборудование для горно-обогатительных предприятий. Из наших цехов выходят такие машины, которые не производят больше ни один завод в стране. Куда бы ни поехал — на КМА, на Урал, в Казахстан, — на всех рудниках работают буровые станки, сепараторы, грохота с маркой нашего завода. Мы этим обстоятельством очень гордимся, и оно же заставляет нас все время думать о том, как увеличить выпуск машин, спрос на которые в десятой пятилетке еще больше возрастет.

Со съезда я привез несколько толстых книжек, в которых записаны трудовые рапорты рабочих, коллективов заводов и НИИ, министерств, городов нашей страны и целых республик XXV съезду партии о досрочном выполнении заданий девятой пятилетки. Читал и радовался за тех людей, которые добились таких успехов, точно так же, как радовался за свой завод, за моих товарищей, которые тоже встретили съезд достойно. Ведь наш завод выполнил пятилетнее задание 24 сентября 1975 года, то есть на 99 дней раньше срока! Представляете, сколько сверхплановой продукции было выпущено нами за эти дни! Когда меня спрашивают, за счет чего мы достигли отличных результатов, я отвечаю: за счет роста производительности труда на каждом рабочем месте. А по заводу этот рост за пятилетку составил 51 процент! Конечно, чтобы достичь таких показателей, потребовалось большое напряжение трудовых и творческих сил всего коллектива. На каждом участке шел поиск внутренних резервов производства. И самый могучий мы видели в реконструкции предприятия.

За пятилетку были технически перевооружены все основные корпуса, за исключением небольшого цеха ширпотреба и участка гальваники. Благодаря реконструкции наш завод-ветеран совершенно преобразился. Взять хотя бы мой механо-сборочный цех. Кажется, еще недавно сто-

яли здесь старенькие ДИПы, донесшие до наших дней боевой лозунг комсомолии первых пятилеток: «Догнать и перегнать». А сегодня в цехе новые, сверкающие краской и яркими кнопками станки с числовым программным управлением. И что примечательно—около них стоят молодые рабочие с дипломами о среднем специальном образовании. Значит, научно-технический прогресс повлек за собой изменения не только вокруг нас, но и в нас самих.

Повысилась производительность труда и за счет более рациональной расстановки оборудования, изменения технологических процессов обработки деталей. Если раньше станки у нас стояли как попало, то сейчас организованы участки, причем каждый со своей специализацией: участок обточки валов, втулок и т. д. Производительность труда на этих участках сразу повысилась на 17 процентов. И это, замечу, без единого рубля дополнительных капиталовложений. Правильная, научно обоснованная организация трудового процесса позволила многим рабочим перейти на многостаночное обслуживание. Снова прибавка производительности труда!

Очень многое дало соцсоревнование в честь XXV съезда КПСС. Значительно выросла инициатива рабочих, повысилась их профессиональный уровень. И вот результат: девятую пятилетку досрочно выполнили около 200 рабочих, причем 37 человек закончили ее за 3,5 года. Рационализаторы и изобретатели сэкономили заводу за пятилетку более 320 тысяч рублей, которые были использованы на расширение жилищного строительства и внедрение в цехах промышленной эстетики.

О ней мне хотелось бы сказать особо. Если в цехе чистота, как в больнице, если рабочие отдыхают в обеденный перерыв около тихо журчащего фонтана, если кругом, где только можно, керамические вазы с цветами, если окраска стен и оборудования отвечает самым современным требованиям,—будет у тебя спориться работа? Безусловно. Бывает, расстроился чем-то дома, а придешь в цех, встанешь к своему станку, и сразу настроение поднимается. Потому что все вокруг устроено по законам красоты. Так, наверное, в будущем станет везде.

А за наше будущее мы спокойны. Досрочный финиш девятой пятилетки с убедительными итогами буквально во всех областях социально-экономической жизни создал хороший плацдарм для вступления в пятилетку десятую. Нашу партию по праву называют строящей партией. Мне хорошо запомнились слова о партии делегата съезда писателя Николая Грибачева: «Она — и конструктор нашего бытия, и пролаб, берущий на себя ответственность за организацию дела, и непосредственный исполнитель». И мы все, рядовые члены партии, должны в точности исполнить то, что запланировано XXV съездом на будущее.

Тут следует сказать вот о чем. Если раньше мы стремились преимущественно к количественным показателям—выпустить как можно больше станков, машин, оборудования, одежды, обуви и т. д.—то теперь мы печемся в равной мере и о качестве нашей продукции. Не случайно Л. И. Брежнев очень лаконично и точно назвал пятилетку, в которой мы живем и трудимся вот уже три месяца, пятилеткой эффективности и качества. Об этих особенностях новой пятилетки на съезде шел предельно деловой разговор.

Как мы понимаем эффективность своего труда? Это высокая производительность плюс отличное качество. Первый показатель у нас на заводе постоянно растет, а вот качество изделий нам надо еще поднимать на новую, более высокую ступень. Сейчас завод выпускает 67 процентов продукции с государственным Знаком качества, в том числе станки с диаметром бурения 250 миллиметров. А в решениях съезда перед нашей отраслью поставлена более важная задача: освоить новейшую модификацию самоходного бурового станка с диаметром бурения до 400 миллиметров. Будем добиваться, чтобы и этот станок получил высшую оценку качества.

Есть ли у нас неиспользованные резервы повышения качества? Есть. Только они

уже не лежат на поверхности, как раньше. Но мы будем их находить, потому что сегодня понятие «высокое качество» приобрело для всех—от рабочего до директора—смысл, если хотите, глубоко личный. Качество становится уже не просто экономической, а духовной потребностью. Сегодня нас уже не устраивает то, что было хорошим вчера. Я знаю многих рабочих, которые сами усовершенствовались—и весьма значительно!—свои станки. Есть хорошая русская пословица: «Ум хорошо, а два лучше». Ну, а если на заводе не два, а сотни постоянно ищущих, активно мыслящих, творчески горящих умов? Если критерием отношения к труду стало: «Я работаю на всех, все работают на меня»? Эти люди—главный резерв, обеспечивающий выполнение государственных планов. В первую очередь это, конечно, коммунисты. Такие, как токарь, ветеран завода Митрофан Алексеевич Балашов и бывший начальник цеха, ныне секретарь парткома Николай Александрович Чепурнов. Называю их первыми потому, что эти два человека сыграли в моем становлении главную роль... Сейчас в одной бригаде со мной трудится токарь Борис Михайлович Маликов. Профессия токаря не простая, ведь токарь—своего рода хирург по металлу. Так вот, чтобы освоить, познать до тонкостей эту профессию, новичку обязательно нужен наставник, человек, который был бы эталоном мастерства. Для меня, хотя я уже сам обучаю новичков, таким эталоном был и остается Борис Михайлович.

За кадровыми рабочими тянутся и молодые. Два года назад пришел в цех после армии Александр Селютин. Взял я его учеником, обучался он у меня два месяца и стал работать самостоятельно. Очень скоро Сашу оценили как честного, собранного, трудолюбивого парня. Он работает рядом со мной, и я вижу, что за два года он вырос не только в профессиональном отношении—у него уже третий разряд,—но и сформировался как личность. По итогам работы в прошлом году он награжден

знаком «Победитель соцсоревнования 1975 года», и мне было приятно дать ему в январе рекомендацию для вступления в партию. Назову еще токаря-карусельщика Владимира Клочкова. У него рабочий стаж тоже небольшой, всего четыре года, но благодаря исключительному трудолюбию и высокой дисциплине—качествам, которые отличают сегодня передового рабочего,—он добился большого успеха: в предсъездовском соревновании «XXV съезду КПСС—25 ударных недель» вышел победителем среди станочников завода. Володе было предоставлено право от имени комсомольцев цеха подписать Рапорт Ленинского комсомола съезду.

Вот так рос, преображался наш завод в девятой пятилетке, а вместе с ним росли и преображались люди. И для меня она тоже была своеобразным рубежом... Перед началом работы съезда делегаты по заведенному правилу проходили регистрацию. Заполняя анкету, я подумал, что если бы в ней был вопрос, когда сформировались как рабочий и как человек, я бы ответил не колеблясь: в девятой пятилетке. Ведь именно за эти пять лет произошли все самые значительные события моей жизни, особенно по производственной линии. Пришел я на завод после ПТУ с первым разрядом, а теперь у меня высший, пятый разряд. В 1974 году награжден орденом «Знак Почета», а перед съездом в числе других молодых рабочих страны за успешную работу в девятой пятилетке удостоен премии Ленинского комсомола.

Два года подряд товарищи оказывают мне высокое доверие, избирая членом парткома завода и секретарем цехового партбюро. А быть партгором цеха—это ведь колоссальная личная ответственность за все дела коллектива. Но когда видишь, что люди тебе верят, к поручениям относятся добросовестно, болеют так же, как и ты, за общее дело, работа ладится.

Особая забота—комсомольская организация цеха. Ее делами занимаюсь и по должности и «по душе»: ведь и сам еще не

вышел из комсомольского возраста. Молодежи у нас много, и она прекрасно понимает, что от нее требуется. Причастность молодых к великим свершениям нашего времени подчеркнул на съезде Л. И. Брежнев: «Сколько хороших инициатив выдвинул комсомол за истекшую пятилетку, сколько доблестных дел он совершил!» Мы действительно гордимся тем, что нам, молодым, доверено участвовать во всех делах нашего государства. Но кому много дано, с того и спрос велик. Партия рассчитывает на наш энтузиазм, на нашу энергию, верит, что юноши и девушки, почувствовав себя хозяевами, найдут новые резервы увеличения темпов научно-технического прогресса, повышения эффективности и качества работы—этой главной задачей нашего общества в предстоящем пятилетии. И мы говорим родной партии: мы с честью оправдаем оказанное нам доверие!

Конечно, решение этих задач потребует от нас серьезного овладения знаниями, совершенствования мастерства. Поэтому так возрос среди молодых рабочих нашего завода интерес к учебе. Сегодня у нас каждый третий—учащийся техникума или студент. Я в этом году решил обязательно поступить в Высшую партийную школу.

Послессъездовские дни для меня, как и для всех делегатов, по-особому ответственные. Все, что услышал, увидел на съезде, о чем передумал в Москве, стараюсь донести до своих товарищей. Серьезно, по-деловому обсуждаем все вместе, как будем выполнять решения съезда.

Девять предыдущих пятилеток преобразили облик Родины. Десятая, юбилейная пятилетка, грандиозные перспективы которой наметил XXV съезд, приведет страну к еще большему расцвету. Я убежден, что миллионы советских юношей и девушек своим трудом впишут в нее новые яркие строки. И, слитые воедино, они составят еще одну героическую страницу истории Ленинского комсомола. А это для молодых высшее счастье—своими руками делать Историю!

С ОГРОМНЫМ ЭНТУЗИАЗМОМ ВСТРЕТИЛИ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ НАШЕЙ СТРАНЫ РЕШЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО XXV СЪЕЗДА ПАРТИИ. В ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ ИМ ПРЕДСТОИТ СОВЕРШИТЬ МНОГО ВАЖНЫХ И ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕЛ.



РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС ВЫПОЛНИМ!

«Единодушная поддержка коммунистами, всем советским народом экономической политики партии, ударный труд с первых же месяцев первого года новой пятилетки — важная предпосылка успешного выполнения очередного пятилетнего плана».

Из доклада Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. БРЕЖНЕВА на XXV съезде КПСС.

Слава ТАЙНС,
слушатель Высшей партийной
школы при ЦК КПСС.

Фото Владимира ЧЕЙШВИЛИ.

Пеннадий Семченко, молодой токарь, несколько лет назад окончивший ПТУ, подошел к Амосову и прокричал сквозь шум мощного движка:

— Иван Григорьевич, мы хотим вызвать вашу бригаду на соревнование.

— Кто это—мы?!—изумился Амосов, выключив станок.

— Я, Дерябин, Семин и Буданов. Мы тоже, как вы, решили объединиться в бригаду, только комсомольско-молодежную, и побороться с вами.

— Так как же вы, ребята, будете с нами, старыми волками, соревноваться-то?—недоумевал Амосов.

— А вы нам поможете,—улыбнулся белобрысый Гена.

— Ну, ладно, потом поговорим,—посерьезнев, сказал Амосов и включил станок.

Эффективность и качество. Эти слова хотя и пишутся раздельно, произносятся и мыслятся сегодня слитно. Когда-то разные понятия стали близкими, парными. Ныне за этими словами—вся трудовая программа десятой пятилетки.

Энергичным поиском отмечен почин трех бригад Московского электромеханического завода имени Владимира Ильича «Пятилетке качества—рабочую гарантию!». Многие действенные стороны социалистического соревнования как бы сфокусировались в этом начинании ильичевцев, которые не раз на протяжении своей истории были запевалами славных дел.

Почин широко подхвачен по всей стране. В нем нашла выражение идея комплексного решения проблем повышения эффективности и качества работы коллективов, тесно связанных одним технологическим циклом. Бригады кузнеца Н. В. Метелкина, токаря И. Г. Амосова и сборщика Н. П. Кузнецова решили от взаимных претензий прийти к взаимопомощи и взаимопониманию.

За ветеранами потянулась молодежь цеха.

В коллективе Амосова шесть токарей. Они объединились в бригаду, чтобы, учитывая силы и возможности каждого в изготовлении деталей по операциям, повысить эффективность работы. Они добились спаянности, ритма, улучшения качества изделий.

И все же бригаду Амосова лихорадили неувязки, так сказать, внешнего свойства. Они получали заготовки—«поковки» из кузницы. Из них на крупногабаритных станках вытачивали валы, фланцы и прочие детали, необходимые для сборки мощных электродвигателей. От ритма и качества работы токарей зависели своевременность и качество исполнения сборки. Даже если амосовская бригада работала без брака, но задерживала поставки деталей по графику, то бригаду Кузнецова не очень-то радовали успехи соседей. Им приходилось прикладывать усилий

вдвое, втрое больше. От них выходила конечная продукция, а стало быть, зависел план цеха. И, спасая честь коллектива, сборщикам приходилось «нажимать». Особенно в конце месяца, квартала, года. И, естественно, они предъявляли претензии токарям. Но, с другой стороны, бригада Амосова также была «привязана» к ритму кузнецов. К тому же от последних приходили поковки не только с опозданием, но еще с солидным припуском. Приходилось гнать по две-три стружки. А это потеря времени, снижение производительности, быстрый износ станка. Моральный и материальный ущерб. И подводили сборщиков, и в кармане, как красочно выразился Амосов, набиралось лишь «кошке на молоко». Вот так по цепочке и предъявляли претензии: Кузнецов—Амосову, Амосов—кузнецам. Разговоры были и на собраниях и по душам. «Ребята,—втолковывал Амосов своим поставщикам,—ведь вам несложно сделать поковку потоньше, а то у нас сил нет—все в стружке ходим, устаем отгребать. Металл изводим, да и...» Но кузнецы с улыбкой показывали свой чертеж: «Допуск у нас приличный—на плюс и минус». Однако «железные» аргументы и доводы сделали свое дело. Три бригадира—Кузнецов, Амосов, Метелкин—посоветовались и решили работать по-новому. Собственно, Метелкин мог бы и дальше гнать со спокойной совестью поковки в пределах допуска. Выработка у него была приличная. Стоило ли напрягаться, чтобы угодить токарям? Лишние хлопоты. Но Метелкин с профессиональной гордостью заявляет сегодня во всеуслышание, что на своем многотонном прессе способен чуть ли не «ловить» микроны. И Амосов говорит, что если где-то ротор двигателя начнет «бить», то он—не Амосов. Но важно другое: три бригадира от имени своих коллективов подписали «Договор о социалистическом соревновании и взаимопомощи в труде». Обязались «работать ритмично, ежедневно выполнять плановые задания, не подводить друг друга. Ликвидировать простой, потери рабочего времени, непроизводительные затраты труда и материальных ресурсов и впредь их не допускать». А затем объявили: «Пятилетке качества—рабочую гарантию!» Партийная и комсомольская организации завода увидели в этой самостоятельной инициативе рациональное зерно и дали ход почину. Он углублялся и совершенствовался. Последователи новаторов почти тотчас же появились и среди молодежи.

Гена Семченко держал в почерневших от въевшейся за смену металлической пыли ладонях блокнот исписанный цифрами. Разговор шел всерьез. Комсомольско-молодежная бригада токарей Геннадия Семченко заявляла, что годовой план выполнит к 5 декабря, увеличив производительность на 15 процентов, добьется звания коллектива коммунистического труда, а также бригадного клейма качества.

Идея сплотиться в коллектив возникла сначала у двоих—у Гены Семченко и его школьного друга Володи Семина. Они вместе закончили заводское



КОГДА

ОДИН ИЗ ИНИЦИАТОРОВ ПОЧИНА, ЗНАТНЫЙ ТОКАРЬ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ АМОСОВ (ВТОРОЙ СЛЕВА), И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛИ—ЧЛЕНЫ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНОЙ БРИГАДЫ ВЛАДИМИР БУДАНОВ, ВЛАДИМИР СЕМИН И ГЕННАДИЙ СЕМЧЕНКО.

КАЧЕСТВА-РАБОЧУЮ ГАРАНТИЮ!



**А В ТОВАРИЩАХ
СОГЛАСЬЕ ЕСТЬ...**

ПТУ, работали порознь, но затем дружба свела их в первом цехе. Поработали, посмотрели на соседнюю бригаду Амосова и решили сколотить свою. Вернее, сговорились работать на один наряд — деньги поровну. И сразу двойной эффект: ведь переняли у Амосова пооперационный цикл разделения труда, а товарищи к ребятам относились с симпатией, добровольно опекали, подсказывали лучшие методы обработки деталей.

— Нам все советовали, — говорит Амосов, — чтобы мы зафиксировали свои отношения: стали их официальными наставниками. Конечно, можно было бы записать это на бумаге. Только разве в этом дело-то? Главное — помогать ребятам от души, от сердца.

Так сложились товарищеские отношения у опытных и молодых токарей. А потом кто-то предложил Гене:

— Что же вы, ребята, вдвоем-то? Рядом с вами такие же молодые работают. Может, стоит укрупнить вашу трудовую ячейку? Не пора ли организовать бригаду?

Обсуждали горячо. Были сомнения. Одно дело — друзья, тут все не раз проверено. А как поведут себя те ребята? Присматривались. Зондировали почву. И предложили вступить в новую бригаду Вячеславу Дерябину и Владимиру Буданову. Они, подумав, согласились. У всех одинаковый разряд — третий. Только у Гены четвертый. Его избрали бригадиром. И вот тут-то под влиянием общей приподнятой атмосферы стали думать: не могут ли они работать лучше?

Гена говорил о том, что сейчас им стало интереснее. Ведь теперь они — бригада, и мастер больше обращает на них внимания, дает более разнообразную работу, доверяет ответственные детали.

Мне вспомнились мои заводские будни, когда я работал в бригаде фрезеровщиков. Для меня, 18-летнего, было огромной радостью ощутить доверие старшего. Мой бригадир Николай Иванов, фрезеровщик высшего разряда, сначала попросил доделать его ювелирную работу, а затем стал давать детали не моего, третьего, а четвертого, пятого и даже шестого разрядов. Поэтому, слушая Гену, я понимал чувства ребят. Окрыленные надеждой, они начали мыслить широко, раскованно, их воображение уже рисовало радужную картину будущего. Сначала робко, потом смелее заговорили о себе как о законных преемниках бригады Амосова. Совладаем?! Совладаем, решили они. И вызвали старших на соревнование.

Станки у ребят поменьше, чем у старших токарей. Вроде работа помельче. А поковки приходят с большими припусками. На обдирку выделяют самый плохой станок, остальные жалеют (если выйдут из строя — сиди, загорай). В цехе слесарей-ремонтников раз-два и обчелся. Вот и начали комсомолцы терзать мастера, службу ОТК, обращаться к постам качества, апеллировать к заводскому «Комсомольскому прожектору». Не только кузница, а и литейка попала в орбиту их критики. Видя мытарства ребят, Амосов как-то отозвал Семченко в сторонку и предложил: «А вы дайте Кузнецову комсомольскую гарантию. Вызовите и их на соревнование. Многие проблемы решите, и самоконтроль появится, и отношение к вам будет посерьезнее».

После работы обсудили детали договора. Потом Гена сходил к экономистам, попросил прикинуть их возможности. Чтоб не бросать слова на ветер.

Дальше все свершилось быстро. Николай Михайлович Илюхин, нормировщик цеха, председатель цехкома, выслушав Семченко, откликнулся:

— Это мы враз обсчитаем. Надо только тряхнуть мастера Дьячкова, чтобы закрепил за вами определенную работу. А так как спрос с вас теперь будет постороже, и задания можно давать посложнее. Не только на мелочовке будете сидеть.

И Александр Шумовский, молодой специалист, начальник цеха, тут же поддержал эту инициативу. Поинтересовался, вызвали ли на соревнование и кузнецов. Услышав, что ребята копируют амосовскую систему, посоветовал:

— А вы заключите соглашение не с бригадой Метелкина, а с другой. Для пользы дела. Чтоб охват пошире был...

Ребята из бригады Семченко замахнулись широко. Справятся ли? Да, впрочем, не одни они... Четыре других комсомольско-молодежных бригады — Ольги Сидоренко, Анатолия Вдовина, Людмилы Федоровой, Нины Мурысейвой — и прославленный коллектив сборщиков Овчинникова заключили подобное соглашение о соревновании и взаимопомощи, тем самым поставив на контроль рабочей гарантии весь технологический цикл изготовления передвижных электростанций мощностью от 6 до 8 киловатт. Срок действия договора о тесной взаимовыгодной кооперации — пя-

тилетка, задание которой бригады обязались выполнить за четыре с половиной года.

Насколько реально воплощение этих планов в жизнь? Ведь то, что коллективы бригад-инициаторов и последователей почина перешли на жесткую систему самоконтроля и взаимной гарантии эффективности и качества работы, соблюдения сроков сдачи продукции по графику, еще не решает весь комплекс проблем. Например, их успех зависит и от состояния станков и оборудования, которые в известной степени устарели. А также от того, будет ли совершенствоваться технология. В общем, прямая зависимость от инженерно-экономического оснащения и обеспечения. Оказывается, об этом уже позаботились. И партийная организация, и комсомол, и администрация завода обсуждали сложившуюся ситуацию и выработали программу действий.

Секретарь завкома комсомола Вячеслав Киселев на примере цеха номер один, где трудятся бригады Кузнецова, Амосова и Семченко, рассказал, какая помощь будет оказана этим трудовым коллективам. Согласно новому плану материально-технического оснащения, в 1976 году будет заменена значительная часть металлорежущих станков. Что же касается снижения трудоемкости производственных работ, то здесь предусмотрены следующие мероприятия. В соответствии с заключенными соглашениями, скрепленными договорами о соревновании с ленинградским и киевским научно-исследовательскими институтами сварочного профиля, в 1976—1977 годах в первом цехе будут внедрены: плазменная резка металла с числовым программным управлением, плазменная сварка, плазменная пайка роторов крупных электрических машин. Это повысит качество работы — исчезнут окалины, в два-три раза повысится производительность труда сварщиков, увеличится надежность, долговечность крупногабаритных электрических машин. И, естественно, эти и другие мероприятия по обеспечению рабочих инженерной гарантией будут служить коллективу первого цеха важным подспорьем в достижении качества производимой продукции на уровне мировых стандартов, в резком увеличении количества ее выпуска.

Пятилетка эффективности и качества набирает темп, вовлекая широкие массы трудящихся — и опытных и молодых рабочих — в стремительный поток новых преобразований.

Юрий АДРИАНОВ

Этюдник

*Давних лет моих верный спутник,
С кем по волжским увалам шли,
Открываю тебя, этюдник,—
Кладезь красок сентябрьской земли.*

*Паутина проселков густая
Затянула лицо полей,
И скрипят деревенские стаи
Приколодезных журавлей.
Мой молчун, мы опять на безлюдье,
Душу памятно отвори.
Вечный странник, осенний этюдник
Полон красок сентябрьской зари.*

*С ремешком твоим свыклись плечи...
Нынче редко мы рядом, собрат!
Только в сердце далекие встречи
Кулачком беспокойным стучат.
Млеет охристый ветер-полудник.
Дымка солнечной мелкой пыли.
Ты устал, мой осенний этюдник,
У границы сентябрьской земли.*

*Но хранишь ты влюбленные лета,
В звездах синие купола
И горячий кармин рассвета,
Киноварных лесов крыла.
Что ж, дружище, давай рассудим,
Что утратили мы, что нашли.
Взор второй мой — осенний этюдник,
Открыватель сентябрьской земли.*

*Краскам чуждо понятие славы,
Им гармония цвета нужна,
Сквозь нее проступают главы
Пережитого нами сполна.
Краски дней, и влюбленных и трудных,
В ровном ритме строкою вззошли...
Стал стихами осенний этюдник,
Часть палитры родной земли.*

Ветер

*Боже мой, какой поднялся ветер!
Дуют сто бессонных чертенят.
Боже мой, как гулко ночи эти
Яблоками сбитыми стучат!*

*Жить мне непривычно на приколе
С вечной неумностью своей.
Правда, мой привал не в чистом поле —
В теплом доме у больших друзей.*

*Правда, сыт, обласкан и ухожен,
Спать уложен...
(Но не спится мне!)
Все-таки, наверное, негоже
Предаваться долгой тишине.*

*Слишком много отдал на забавы
Дней, что мне отпущены судьбой.
Надобно, пока не седоглавый,
Как бинты, блаженный рвать покой.*

*Кто предскажет завтрашнее утро?
Вдруг машина полетит в кювет?
В изни есть печальная премудрость
Вечно ждать итоговый ответ.*

*А пока живу на белом свете,—
Как бинты, блаженный рвать покой...
Боже мой, какой поднялся ветер,
Беспощадный ветер-листой!*



Юрию Уварову

*Потухнувших небес бледно-зеленый край
Восходит под зенит глубокой синевы...
Иди навстречу, ночь.
Ушедший день, прощай!
Ночь, женщина любви, я встречи жду с тобою.*

*Старик туман не даст нам видеть наших лиц —
Лишь теплота руки и теплота дыханья.
Кузнечики звенят, то цокот колесниц,
Тех звездных колесниц, что мчатся в мирозданье.*

*В благословенный час земли шальная дочь
К плечу припала вновь, моей судьбой согрета.
Я волосы твои целую тихо, ночь.
И пахнет от волос лугами всей планеты.*

*Уйду из жизни я — другой к тебе придет,
Вдруг повторится все обыденно и мудро:
Без жаркой встречи губ не вспыхнет небосвод —
Стыдливый цвет зари, что зарождает утро.*



*Среди болезней, жизненных невзгод
Вздохнет ровесник с чувством неподложным:
«Двухтысячный великий встретит год,
А там и умирать, пожалуй, можно!»
Как все предвидеть?..
Налетит гроза —*

*И не успею песню всю долететь я...
Но сын трехлетний, он мой глаза,
Что в третье заглянут тысячелетье.*

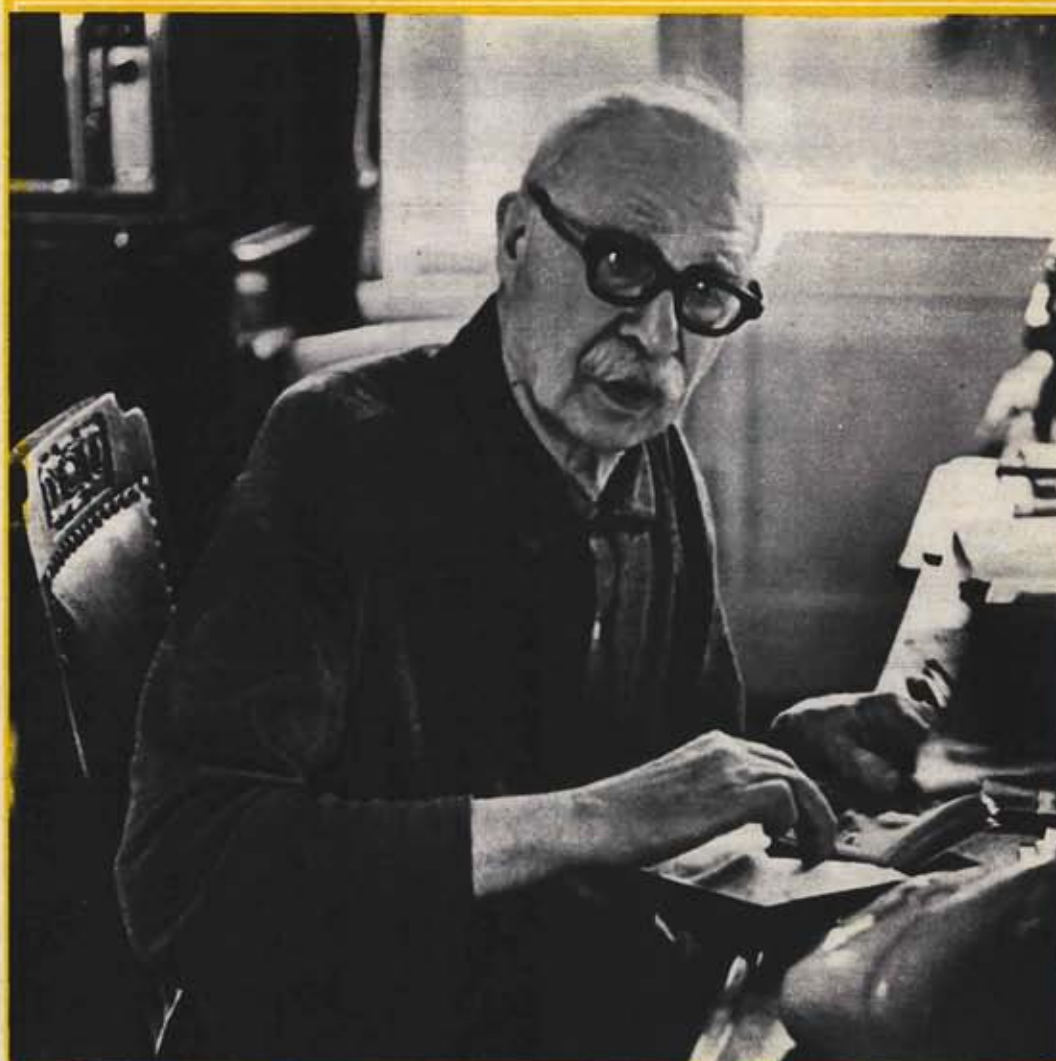


*Девушка присела на корме,
Что сейчас напомнила ты мне?
То, что я вот так же вдаль гляжу,
Вечно жду и все не нахожу?
Это ж словно отойти ко сну:
Счастья ждать в такую тишину!
Знать, что первый шаг —*

в твоей же власти,

*Знать —
к нему скользкий бросив взгляд,
Быть все время в ожиданье счастья...
А года идут, плывут, летят!*

г. Горький.



геолог Урванцев

В прошлом году городу Норильску, который по праву называют столицей Заполярья, исполнилось 40 лет. Рожденный в годы первых пятилеток, Норильск стал крупнейшим центром советской цветной металлургии. Он вырос в суровом далеком краю, где каждая победа человеку давалась тяжким трудом. И самые большие трудности выпали на долю тех, кто первым пришел сюда открывать сказочные богатства. Сегодня наш рассказ об одном из них — Николае Николаевиче УРВАНЦЕВЕ.

Если вам доведется побывать на Таймыре или в центральной части нашей Арктики, вы обязательно услышите о Николае Николаевиче Урванцеве.

Иногда этого человека называют Колумбом Севера. Любое сравнение условно, подобное же настораживает категоричностью. Тем более, что относится к современнику, а мы по непонятной особенности человеческого мышления всегда как-то недооцениваем то, что делается рядом, в одно с тобой время.

Тем не менее мне кажется, при оценке заслуг Урванцева оправдан любой максимализм.

Однажды я много месяцев колесил по этому

краю: Хантайское озеро и Снежногорск, Талнах, Диксон, мыс Челюскина, метеостанция на Северной Земле, река Хатанга, озеро Пясино, устье Убойной, острова в Ледовитом океане. Торосы и паковый лед, темные разводья с черными точками тюленьих туш у самой воды, чуть всхолмленная равнина тундры, фантастические пики горных кражей. И куда бы я ни прилетел, оказывалось, что лет 50 или 40 назад здесь уже побывал Н. Н. Урванцев. Некоторые острова, что проплывали под крылом самолета, он первым нанес на карту. По праву первооткрывателя давал им имя. Свершенное им в Арктике обрастало легендарными подробностями, и он представлялся уже человеком из легенды, о котором точно уже и не знаешь, был ли он на самом деле или его не было.

И я решил с ним встретиться...

В этой старой ленинградской квартире все проникнуто необыкновенным покоем. Идет он от книжных стеллажей, поднимающихся до самого потолка. От акварельных пейзажей и пожелтевших фотографий. Даже от двух охотничьих ружей на стене, немых свидетелей былых походов, ныне ушедших на покой после грохотливой своей жизни. А может, рождает это ощущение покоя контраст обстановки с темой нашего разговора. Мы говорим об Арктике, льдах и морозах. А в комнате светло и тепло, и с улицы едва доносится приглушенный шум вечернего города.

— В Норильске вас считают человеком, которому город обязан рождением,— говорю я.

— Это неверно,— смеется Урванцев.— Своим рождением он обязан залежам медно-никелевых руд и каменного угля. Мне только довелось разведать эти месторождения, описать их, отобрать для анализов образцы, а после доказать промышленное значение открытых здесь богатств. Не я, так кто-нибудь другой обязательно сделал бы это. В таких делах главную роль играет экономическая целесообразность.

— Но первым пришли туда все-таки вы. И доказали экономическую целесообразность опять-таки вы. Конечно, это смог бы сделать и кто-то другой, но приоритет тем не менее за вами.

— Это утверждение не совсем точно. Если говорить об открытии в Таймырской тундре металлов, то нужно начинать рассказ издалека. Старинные летописи говорят, что наши предки с незапамятных времен ходили берегом Ледовитого океана в Сибирь.

Освоенный в 1601 году в устье реки Таз Мангазейский острог способствовал торговле, которую вели русские купцы с местным населением. Русские землепроходцы уходили дальше на восток—за Енисей, Лену. Вместе с ними шли рудознатоки, большие специалисты в своем деле. Уже в наше время при раскопках на месте бывшей Мангазеи ученые нашли множество предметов из меди. Примеси никеля и других металлов в ней были такими, что это позволило утверждать: руда была добыта в районе нынешнего Норильска.

В 1866 году Российская Академия наук командировала в низовья Енисея естествоиспытателя Ф. Шмидта, который должен был разыскать тушу мамонта, по слухам, сохранившуюся где-то в Гыданской тундре. Шмидт нашел только часть скелета мамонта. Зато во время его пребывания в Дудинке он дважды по приглашению купца К. П. Сотникова побывал в районе нынешнего Норильска, где Сотников сделал заявки на месторождения угля и медной руды. Кстати, в 1919 году наша экспедиция нашла на горе Рудной заявочный столб Сотникова, на котором была указана дата: «1865 год»...

Так что предшественники у нас были. И прежде чем болотистой тундрой пройти на место нынешнего Норильска, я досконально изучил все, что было написано об этой земле. Сведения собирал по крупицам, но такие крупицы имелись.

— А что явилось толчком для организации вашей первой экспедиции?

— Нужно было разведать залежи каменного угля, чтобы обеспечивать топливом суда, идущие Северным морским путем из европейской России на Дальний Восток. Освоение этого пути давно было насущной проблемой для нашего государства. По настоящему оно началось только после Октября.

Время было трудное. Ведь я окончил Томский политехнический институт в 1918-м, и Советской власти было всего лишь полгода. Тогда по сложившейся традиции каждый видный ученый-геолог вел свои исследования в каком-то облюбованном им районе. Для этих экспедиций каждый создавал соответствующие базы, получал деньги. Я надеялся, что весной 1919 года сам отправлюсь с каким-нибудь маститым ученым в экспедицию. Мечтал о Севере. Свою профессию геолога избрал потому, что она позволяла путешествовать, изучать природу и больше всего соответствовала моему характеру. Эта любовь к перемене мест, собственно, и забросила меня из нижегородского города Лукоянова в Сибирь.

Но белочешский мятеж и пришедшая в Сибирь колчаковщина перевернули все наши планы. Томск оказался отрезанным от столицы и от Центрального геологического комитета, который руководил всеми поисковыми и разведочными работами. Мы быстро сориентировались и, чтоб легализоваться, создали свой Сибирский геологический комитет, который якобы действовал автономно, но на самом деле продолжал работы, запланированные ранее. Вот этот комитет и послал меня на разведку углей в низовьях Енисея.

Наша экспедиция состояла из шести человек: два топографа, три рабочих и я в качестве начальника. Сплавились мы на попутных пароходах, которые развозили по промысловым точкам рыбооловецкие артели. Сошли мы в Поталове, километрах в ста тридцати южнее Дудинки. Целое лето исследовали

правобережье Енисея от Поталова до Усть-Порта. Топографы уточняли карту, которая была довольно условной. Я вел геологическую съемку.

В те времена места тут были глухие. В Поталове стояло два дома, в Хантайке—три, в Дудинке—целых тринадцать. Приезжали сюда в основном летом на лов рыбы. Те, кто жил постоянно, занимались еще и пушным промыслом. Глухомань и безлюдье.

Все лето ушло на поиски, но ничего заслуживающего внимания мы так и не нашли. Приближалась осень, нужно было торопиться, чтоб успеть вместе с рыбаками в обратный путь. И я решил на несколько дней пробраться в район реки Норилки, где, по словам Ф. Шмидта, имелись выходы угольных пластов. Пробыли мы в этом месте дня три-четыре. В узком ущелье ручья—теперь он называется Угольным—мы обнаружили выходы угля. Мощность пласта—метр и больше. На северном склоне горы Рудной я наткнулся на вкрапления и гнезда пиротита, пирита и медного колчедана. На обратном пути километрах в 25 от Дудинки на реке Ерголык мы нашли еще один выход угля.

Вернувшись домой, я доложил Геологическому комитету о результатах экспедиции. Вскоре в Сибири вновь была установлена Советская власть, и из Москвы приехал представитель Горного совета ВСНХ, который заслушал отчет нашего комитета о проделанных работах и предложил летом 1920 года продолжить разведку угольного месторождения.

На этот раз экспедиция состояла из 15 человек. В Дудинке нас ожидало 250 оленей, закупленных у населения для нашей экспедиции согласно телеграмме Красноярского Совнаркома местным Советом. Десять дней по уже раскисшим от июньской жары болотам преодолевал наш отряд стокилометровый путь от Дудинки до Норильска. Запряженные в сани олени едва тащили экспедиционное оборудование и снаряжение.

В то лето наша экспедиция покрывала инструментальной съемкой всю территорию Норильского района площадью в 25 квадратных километров. Окружающие горы, ручьи, озера окончательно получили свои наименования: гора Рудная, Шмидта, Надежды, Двугорбая, ручьи Угольный, Медвежий, озеро Долгое, Щучье...

— Так они называются и поныне...

— Но главное—мы разведали угольные залежи и подсчитали, что запасы только двух верхних мощных пластов составляют около 4,3 миллиарда пудов (около 72 миллионов тонн), что обеспечивало потребность Северного морского пути на многие десятилетия. Кроме того, обнаружили рудное тело, по типу близкое медно-никелевым месторождениям.

Представляете? Месторождение цветных металлов и рядом—уголь, энергетическая база для будущего металлургического комплекса. Всего сто километров по прямой до Енисея, а дальше—океан, самый дешевый водный путь. Все это рисовало заманчивые перспективы. Уже тогда я был уверен, что в этом месте вырастет город с мощной промышленностью. Тем более, что в том же самом месте рядом с нами работала партия инженера С. М. Львова, которая вела изыскания трассы для узкоколейной железнодорожной ветки от Норильского угольного месторождения к Усть-Порту на Енисее. Сибревком надеялся таким образом форсировать работы по налаживанию перевозок по Севморпути, без которого Сибирь, отрезанная от других районов страны разрухой и развалом на транспорте, не могла развиваться.

— Другими словами, будущее Норильска было уже предreshено...

— К сожалению, все было не так просто. Гражданская война еще не окончилась. В стране нет самого необходимого.

В декабре 1920 года меня и второго геолога Ивана Петровича Рачковского командировали с отчетом в Петроград, где находился тогда Главгеологом. Ехали дней десять. Деньги тогда были не в ходу. Взяли с собой мешочек соли. По пути меняли все необходимое. Горсть соли—курица, кружка—гусь.

В Питере привезенные образцы норильских руд дали хороший результат: обнаружены медь и никель. Я считал, что должны в них присутствовать еще платина и другие металлы. Но в лабораториях Геологкома не было кокса, чтобы произвести тигельную плавку, не было и химических реактивов для соответствующих точных анализов. Я оставил два образца Н. К. Высоцкому, лучшему нашему специалисту по благородным металлам, в надежде, что тот при случае сможет довести дело до конца, а сам уехал в Сибирь.

Будущим летом в Норильск прибыла экспедиция уже в 59 человек. Заранее по указанию Сибревкома в районе разведки была заготовлена тысяча бревен местной лиственницы. Мы заложили штольни на руду и уголь, вели топографическую съемку. К концу лета срубили бревенчатый дом, в котором остались на зимовку четверо рабочих, начальник горных работ А. К. Вильям, завхоз А. И. Левкович и я. Начатые летом метеонаблюдения—для этого развернули метеостанцию—решили продолжать и зимой, потому

что разговоры о суровом климате здешних мест мы слышали много, и нужно было точно знать, что и как, чтобы дать рекомендации тем, кто начнет строить город.

— Это был тот самый дом, на котором висит мемориальная доска с надписью: «Первый дом Норильска, построенный геологоразведочной экспедицией Н. Н. Урванцева летом 1921 года. У этого дома зимовщики в 1922 году провели первую в Норильске первомайскую демонстрацию»?

— Да, это тот самый дом.

Зима оказалась суровой. Но мы продолжали поиски.

Я понимал, что вывозить к Енисею уголь и руду, доставлять из Дудинки необходимое оборудование будет очень трудно, пока не построят надежную железную дорогу. А ее строительство в здешней тундре—задача сама по себе чрезвычайно сложная. Нужно было искать иной путь.

В 14 километрах к востоку от Норильска протекает река Норилка, которая впадает в озеро Пясино и вытекает из него уже под названием Пясины. Эта река впадает в Карское море в 250 километрах к востоку от устья Енисея. Если Пясино окажется судоходной, то грузы для Норильска можно будет завозить по ней. Пробросить от нее 14-километровую узкоколейку гораздо проще, чем вести дорогу к Дудинке.

Той зимой мы обследовали все окрестные озера и реки. А в начале июня, когда Пясино вскрылась, я с отрядом в пять человек прошел всю реку от устья и в августе Карским морем под парусом прибыл на Диксон. Глубины и скорость течения на Пясино оказались достаточными для прохода груженых судов...

Я слушал Николая Николаевича, мысленно представлял эти места. Даже теперь, спустя пятьдесят лет после его экспедиции, они, достаточно обжитые и изученные, поражают своей суровостью. Даже теперь, в стосорокатысячном Норильске, во время пурги на улице носа не высунешь. Чтобы идти против ветра, приходится складываться чуть ли не вдвое. Даже летом, в разгар полярного дня, на этой скудной, промерзлой земле ничто, кроме мхов и чахлах деревьев, не хочет расти. На газонах вместо цветов сеют овес: хоть какая, а зеленая.

А вот тогда, по рассказу Урванцева, все получилось как-то очень просто. Да, было трудно, да—морозно, голодно. Ну, а в общем ничего особенного.

Должен дополнить его рассказ деталями. В свою экспедицию на Пясино он взял сорокавосемилетнего Никифора Бегичева, дудинского охотника-промысловика, бывшего боцмана русского флота, участника экспедиции Э. В. Толля, искавшей в 1900—1902 годах легендарную землю Санникова. Того самого Бегичева, который в 1908 году совершил поездку в устье Хатанги и Анабара, где открыл два острова, названных его именем. Так вот, в конце 1918 года Р. Амундсен, зазимовавший у восточного побережья Таймыра на судне «Мод», послал на остров Диксон двух своих спутников, Кнутсена и Тессема. На Диксоне в то время находилась радиостанция, и норвежцы хотели передать на родину сообщение о своей экспедиции. Ни Кнутсен, ни Тессем на Диксон не пришли. Только весной 1921 года поисковая партия Н. Бегичева нашла останки одного в районе мыса Вильда. Второго спутника и почту, которую Амундсен отправил с ними, обнаружить тогда не удалось. И вот летом 1922-го отряд Урванцева, плывший из устья Пясины на запад, заметил на берегу моря, километрах в 80 от Диксона, листы бумаги. Как оказалось, это была почта Амундсена. А чуть позже на берегу Енисейской губы, как раз напротив диксонской радиостанции, участники группы Урванцева Н. Бегичев, Б. Пушкарский, Г. Базанов во время охоты нашли останки Тессема. Истощенный, изнуренный тяжелым переходом в темную полярную ночь, он погиб всего в двух километрах от цели.

Сравните даты. 1918—1919 годы—Амундсен зимует у Таймыра. Летом 1919-го Урванцев с пятью спутниками обследует район будущего Норильска. Совпадают не только годы и география. Одинаковы условия работы, когда за каждый шаг познания людям приходилось платить самую высокую цену.

— Ну а что было дальше, Николай Николаевич?—спрашиваю Урванцева.

— Пока мы зимовали, сплавливались по Пясино, шли по Карскому морю, заработала наконец плавильная лаборатория Геологического комитета. Профессор Высоцкий обнаружил в оставленных мною образцах руды металлы платиновой группы. Меня срочно вызвали в Москву в ВСНХ для организации в сезон 1923/24 года новой геологоразведочной экспедиции. Но на этот раз нужно было вести только разведку металлов.

Неожиданно для себя я стал распределителем

огромных средств. Беда только, что деньги мне выдали не наличными, а чеками взаимного банковского расчета. Дело было новое. Теоретически я мог в любом учреждении купить или выписать все, что мне нужно, практически же никто ничего под чеки не давал—требовали наличные. Тогда я обратился за помощью к брату Я. М. Свердлова, Вениамину Михайловичу, который в то время занимал высокий пост в Совете Труда и Обороны. Он вызвал соответствующих руководителей, договорился, что на чеки я могу приобрести сахар, рис, махорку и мануфактуру. Правда, нам нужно было оборудование, валенки, брезент, моторы, но моя жена быстро прикинула, что за мануфактуру мы в Сибири всего, что нужно, наменяем. И, как оказалось, не ошиблась.

И опять я должен прервать рассказ Урванцева. Вспоминая о лихой «коммерческой операции» с мануфактурой, он даже теперь говорит о себе как о страшно «оборотистом» человеке. И все-таки экспедицию он свою обеспечил вовсе не так, как хотел бы. Он сделал больше того, что мог. Но в измученной войнами стране нельзя было достать самых нужных вещей. Для буровых работ, например, им дали тяжелый станок «Интербар», но двигателя для него не нашлось. Стали бурить вручную, что, даже используя алмазы, было невыносимо трудно и непродуцательно. Тогда в качестве двигателей приспособили купленные по случаю два поношенных пятицилиндровых бензиновых моторчика «Архимед». И все-таки летом 1924 года при проходке штольни была добыта тысяча тонн руды.

В тот год в жизни Урванцева произошло самое яркое событие, или, как он выразился, он «испытал самое приятное ощущение». Он уже работал в Ленинграде. И вот как-то в его кабинет вошел профессор горного института Н. П. Асеев и положил на стол два бруска металла: первый никель и первая медь Норильска. Это была победа.

И опять задумываешься над личностью самого Урванцева. Конечно, богатые недра предопределили судьбу Норильска. Но сколько нужно было энергии, чтобы доказать экономическую целесообразность разработок! Трудно сказать, что сложнее: мерзнуть, надрываться в непосильном труде и опасных переходах или защищать свою точку зрения на вновь открытое месторождение? Уверен, окажись на месте Урванцева человек менее упорный, более склонный к компромиссам и спокойной жизни, освоение Норильских месторождений началось бы гораздо позже.

Послушаем рассказ Н. Н. Урванцева:

— В 1924 году Геологом стал судить и рядить, как быть с Норильском. Найденная руда нуждалась в обогащении. Для этого нужно строить дорогой промышленный комплекс, в трудных условиях прокладывать дороги. Это требовало огромных средств и сложного технического оборудования. В то время страна ими не располагала. Решили работы в Норильске приостановить. Я возражал. Свою точку зрения изложил в особом мнении, которое было приложено к протоколу заседания Геологкома. С материалами ознакомился председатель Высшего Совета Народного Хозяйства Ф. Э. Дзержинский. Он принял меня, согласился с моими доводами, и ВСНХ постановил: работы в Норильске продолжать в еще более крупном масштабе, начав их уже с весны 1925 года. Начальником экспедиции был назначен секретарь Ф. Э. Дзержинского П. С. Аллилуев, я стал заместителем.

Не всякий, как Урванцев, решится пойти против мнения организации, в которой он работал. Ради Севера он отказывался не только от спокойной жизни, но и от многих заманчивых предложений, которыми его искушали.

Воля и целеустремленность этого человека удивительны. Хотя внешне он производит иное впечатление. Я говорю не о сегодняшнем Урванцеве, когда ему за восемьдесят. Даже в двадцатые годы—я сужу по снимкам—он больше походил на хрупкого гимназиста, а не на бывшего полярного исследователя: среднего роста, необычайно худой, в пенсне или очках в тонкой оправе. И этот интеллигент до мозга костей заставлял поверить в успех даже тех, к кому в душу закрадывалось сомнение: а стоит ли игра свеч?

— Это было в зиму на 1923 год,—вспоминает Елизавета Ивановна, жена Урванцева.—Собрались мы как-то вечером в своей избушке, а Николай Николаевич вдруг говорит Виктору Александровичу Корешкову, рабочему экспедиции: «Вот ты, Виктор, сидишь сейчас на чурбане. А пройдут годы, и на этом месте вырастет прекрасный город. Построят тут замечательные дома с кабинетами красного дерева».

«Да что ты, Николай Николаевич, сочиняешь? Какие тут кабинеты красного дерева?»

И я спросил Урванцева:

— Неужели уже тогда вы были так уверены?

— Абсолютно.

Человек, решительный во всем, что касалось работы, он был таким и в личной жизни. В ноябре 1972-го Урванцевы отпраздновали золотую свадь-

бу. Я бы не стал расспрашивать, как они встретились, если бы не одно смущавшее обстоятельство: Николай Николаевич был все время на Таймыре, Елизавета Ивановна жила в Москве. Даже теоретически они не могли встретиться. Помог случай. Елизавета Ивановна, в то время фельдшер, ехала к родственникам в Бийск и вынуждена была из-за расписания поездов на три дня задержаться в Новосибирске. В это время туда же приехала группа томских геологов. Случайно все вместе обедали в одной столовой. Случайно у кого-то нашлась бутылка сухого вина. Урванцеву предложили сказать первый тост.

«Я пью это вино,—сказал Николай Николаевич,—за то, чтобы эта девушка стала моей женой».

Его спросили:

«А вы хоть знакомы?»

«Нет, незнакомы».

«Так почему же вы выбираете ее женой?»

«Мне кажется, что подругой геолога должна быть женщина, не боящаяся трудности, решительная, сильная. Найти такую так же трудно, как сыскать иголку в стоге сена, горошину—в вагоне гороха. Мне кажется, что эта девушка именно такая. И я не хочу ее упустить. Мне предстоит прожить большую жизнь, много работать. И с нею у меня все получится очень хорошо».

С тех пор они шли по жизни вместе. И тяготы, что выпали на их долю, они несли вдвоем.

Норильск—самая яркая победа в жизни Урванцева. Но не единственная. Перевернем еще несколько страниц его жизни.

— В январе 1930 года я вернулся из полярной экспедиции на Северный Таймыр, во время которой на лошадях, моторной лодке и оленях было покрыто расстояние более восьми тысяч километров. Мы изучали географию и геологию гор Бырранга, слагающих северную часть полуострова. В 1848 году тут побывал русский географ А. Ф. Миддендорф, а после него в течение почти ста лет никто из исследователей этот район не посещал, и он во многом оставался «белым пятном». Логично, что следующим этапом должна была стать экспедиция на Северную Землю, которая является как бы продолжением полуострова Таймыр в Ледовитом океане. Ее открыли в 1913 году, в следующем описали южную часть побережья, но потом почти двадцать лет она по-прежнему оставалась неизведанной. Я думал, что отправлюсь в новую экспедицию в следующем году, но, прибыв с Таймыра в Ленинград, неожиданно узнал, что Георгий Александрович Ушаков, вернувшийся после трехлетней зимовки на острове Врангеля, предложил план исследования Северной Земли уже в этом, 1930 году. Естественно, я решил к этому делу присоединиться...

У людей подобного склада все выглядит естественным. Естественно, что они, два старых «полярных волка», быстро нашли общий язык. Естественно, что при огромном собственном опыте и доскональном изученном опыте других арктических исследователей они разработали подробнейший план экспедиции. Это позже их двухлетнюю зимовку на Северной Земле ученые назовут ледневой полярной экспедицией эпохи Нансена—Амундсена, когда основным в работе были чинувеческая выносливость и точный расчет при минимуме технических и материальных средств. Это много позже Урванцев за свой вклад в изучение Земли будет награжден Большой золотой медалью Географического общества СССР (до него ее удостоивались только три человека), а именем Ушакова назовут остров в Ледовитом океане. Все это будет позже, а тогда, весной и летом 1930 года, было много срочной работы. Выписывали из-за границы пеммикан, патентованный концентрированный корм для собак и людей, заказывали необходимое оборудование, одежду, дом для жилья, припасы. Следили телеграммы, торопили, уговаривали, настаивали, убеждали. Заодно тщательно выбивали двух других участников экспедиции—радииста и охотника-промысловика,—потому что проблема совместности характеров, как они не раз убеждались, может сказаться на результате всей работы. И они нашли достойных спутников. Сергей Прокофьевич Журавлев почти всю свою жизнь прожил на Новой Земле, где промышлял пушиного и морского зверя. Двадцатилетний комсомолец Василий Холодов считался одним из лучших радиолюбителей-коротковолновиков.

Я спросил Урванцева:

— Что больше всего вам запомнилось во время экспедиции на Северной Земле? Может быть, необычный случай? Или какое-то исключительное обстоятельство?

Спрашивая, я отлично понимал, что вся эта двухлетняя эпопея, начавшаяся после того, как в августе 1930 года «Георгий Седов» высадил четверку на острове Домашнем, и окончившаяся в августе 1932-го с приходом «Сибирякова» и «Руса-

нова», вся эта эпопея состоит из исключительных обстоятельств. Спрашивая, я думал, что Николай Николаевич сумеет в длинной цепочке необычных случаев выбрать «самый-самый»...

А он задумался.

— Просто затрудняюсь что-то назвать. Все было интересно. Хотя ничего очень уж особенного и не происходило...

— Николай Николаевич, расскажи о медведе,—подсказала Елизавета Ивановна.

— Да, пожалуй, можно. Метрах в ста пятидесяти от нашего рубленого дома, где мы жили, я построил из фанеры небольшой павильон для магнитных наблюдений, чтобы чувствительные приборы находились подальше от стальных и железных предметов, которые влияют на показания. Для отопления принес туда примус и целыми днями работал. И вот однажды смотрю в окно: рядом белый медведь. Свалить ему мое хилое строение ничего не стоит. А у меня никакого оружия—только игла, которой ускакивал магнитную стрелку. Ну, думаю, выскочу сейчас, суну ему в морду горячий примус и, пока-опомнится, добежу до дома. К счастью, медведя отвлекли собаки.

— А потом о колокольчике расскажи,—снова напоминает Елизавета Ивановна.

— Это было в следующую зиму. Магнитные наблюдения я уже окончил, а фанерный сарайчик так и остался моим кабинетом. От мусорной кучи, которую любил посещать медведь, я провел к себе веревочку, а к ее концу над самым столом повесил колокольчик. Дело было полярной ночью. Ничего не видно. Но стоит зазвонить колокольчику, я знаю: пришел медведь. Беру винтовку, выхожу и стреляю.

Не знаю, почему Урванцев решил мне рассказать только о медведях. Пять маршрутов, которые они совершили на собаках упряжках вокруг островов Северной Земли, полны случаев и событий, о которых рассказывать да рассказывать.

Приведу отрывки из его воспоминаний. Они деловиты, как отчет или рекомендации будущим путешественникам.

«Из 152 дней, проведенных в маршрутах, на съемочные работы непосредственно затрачено 94 дня, на стоянки для астрономических и других научных наблюдений—22 дня. Остальные 36 дней приходятся на задержки из-за пурги, распутицы и других стихийных причин».

Средняя длина одного перехода без стоянок равна 32 км, а со съемкой 28,5 км. В хорошую погоду по торной дороге на сытых, тренированных собаках удавалось делать со съемкой более 70 километров (7 июня 1932 г.—76,1 км). Между тем по тяжелому пути на усталых собаках едва проходили 5 км».

В пяти маршрутах они прошли три тысячи километров. Что это были за километры!

«Лед на море в настоящее время от выветривания слагающих его столбчатых кристаллов, располагающихся вертикально, стал похож на гигантский рашпиль. Выступающие бугорки настолько остры, что режут и царапают даже прочные кожаные подошвы сапог, уже разбитых вдребезги и пропускающих воду, как решето. На этой же ледяной терке собаки ободрали себе все лапы. Каждая лапа—сплошная зияющая рана. Корки, образовавшиеся на ранах за время стоянки, снова повреждаются, как только трогаемся в путь, и раны непрерывно кровоточат, так что собачий путь—поистине путь кровавый».

Во время остановки собаки велятся прямо в упряжке, обессилевшие, и лежат пластом, пока их отпрягнешь. Приходится каждую потом переносить на сухое место, иначе все останутся около саней, будучи не в силах подняться. Корм каждой нужно подкладывать под нос, и он съедается лежа.

Утром к упряжке каждую приходится подтаскивать на руках. Когда подходишь, чтобы запрягать, животное смотрит так умоляюще, совсем по-человечьи, что сердце разрывается от жалости. Но помочь ничем нельзя. Нужно двигаться вперед, иначе можно совсем не дойти».

И далее:

«Продовольствие все кончилось. Отдали собакам три последние банки пеммикана и одну банку своего. У нас осталось не более пол-литра керосина в примусе, 3/4 банки пеммикана и немного чая. Галеты, сахар кончились уже давно, больше недели назад».

...На другой день, 19 июля, погода ухудшилась. Сильный северный ветер, густой туман, гололедка. Воды нагнало еще больше. Сидим, как зайцы, на острове в водополе. Всего хуже, что сильный ветер может поломать льды и унести нас в море, этого мы опасаемся больше всего. Собакам отдали последнее: масло, шоколад и пеммиканы. Теперь осталась одна кружка риса, да и то неполная».

Это написано всего сорок лет назад.

Помню, как-то в конце октября я попал на мыс Челюскина, самую северную точку евроазиатского материка. Встретившие нас местные старожилы были навеселе. Я спросил, с чего бы это они.

— Сегодня последний раз всходило солнце. Теперь мы не увидим его до конца февраля.

И вправду, в тот день я заметил, что рассвело

очень поздно. Раскаленный красный пятак солнца вопреки обычаю не поднялся над землей, а пока-тился на запад по самому горизонту, а вскоре вовсе исчез, оставив долго пламеневшую зарю. Все это было необычайно красиво, если бы темень не спускалась на целых четыре месяца. Даже теперь это обстоятельство выбивает людей из колеи. А как было зимовать тем четверем, оторван-ным от всего мира? Ведь они были обычными людьми. Послушайте, как встретили они 1932 год:

«Накануне Нового года устроили вечеринку. Снача-ла выступил Ушаков с докладом о плане весенних работ. Этот доклад мы обсудили во всех деталях...

После Ушакова выступил я с докладом на тему «Время в математике, истории и геологии». После докладов устроили ужин, сервированный общими силами, а на улице сожгли несколько ракет и магни-евых факелов, чем крайне изумили ценков...»

И когда в августе тридцать второго они заметили в расходящемся тумане милях в трех от берега неясные контуры «Сибирякова», у них не хватило сил на ожидание!

«Шлюпка у нас была наготове. Завидев судно, мы немедленно завели мотор, выскочили навстречу па-роходу и сошлись с ним еще в море, далеко от берега. Через несколько минут мы находились уже на борту, приветствуя всех и пожимая всем руки...»

Казалось бы, североземельских испытаний хватит надолго. Но будущим летом Урванцев пускает-ся в новую экспедицию: на севере Таймыра, в Хатангском заливе, намеревались искать нефть, и он не мог остаться в стороне. Кроме чисто геологи-ческих проблем, он хотел разрешить еще одну. Страстный автомобилист, он еще в конце двадца-тых годов попытался использовать на Нориль-ском месторождении тракторы. Он «выбил» два французских трактора «Рено». Приспособленные к иным климатическим условиям и конструктивно несовершенные, французские машины часто ло-мались в пути.

— Вот тогда я и решил,—продолжает Николай Николаевич,—что удобнее будут машины, которые берут груз на себя, а не тащат на прицепе. С помощью О. Ю. Шмидта я сумел заказать в НАТИ четыре пробные машины подобного типа, но с учетом аркти-ческих условий. Их изготовили на базе автомобиля «ГАЗ», дали лучших водителей-испытателей. Но эк-спедиция началась с неудач.

Лесовоз «Правда», который вез экспедицию в устье Хатанги, сел на мель. Когда снялись, капитан категорически отказался еще раз попытаться счастья и высадить экспедицию на берег. Но вернуться в Архангельск тоже не удалось. В тот год была очень тяжелая ледовая обстановка. Ледокол, который дол-жен был провести наше судно и еще два сухогруза, возвра-щавшиеся из Тикси, сломал два из трех своих винтов и сам едва-едва успел проскочить льды пролива Вилькицкого. С ним в Архангельск мы отпра-вили большую часть экспедиции, а сами остались зимовать у островов Самуила (теперь острова «Ком-сомольской правды»). Построили на берегу из подруч-ных стройматериалов жилой дом, баню, склад, радио-станцию, собачник.

В марте 1934 года с концом полярной ночи мы отправились в пробег вокруг северной части Таймыр-ского полуострова. Тысячу километров преодолевали целый месяц, но ни одной поломки. А потом соверши-ли скоростной пробег—острова «Комсомольской правды»—мыс Челюскина и обратно.

— Но все-таки непонятно, Николай Никола-евич,—говорю я,—почему вы, геолог, вдруг взя-лись за организацию автопробега, за дело, кото-рое стояло в стороне от вашей профессии?

— По-моему, это вполне естественно. Я был уве-рен, что у таймырского севера большое будущее. Нужно было прикинуть, какой транспорт необходим этому суровому краю. Кто же другой, как не я, должен там этим заняться? У меня многолетний опыт жизни в этих местах, знание здешних условий.

Для него все было вполне естественным.

В 1935 году на разведанном Н. Н. Урванцевым месторождении был заложен город Норильск, ставший теперь признанной столицей Советского Заполярья. Сейчас по Таймырской тундре мчат вездеходы с геологами, строителями, охотниками, оленеводами. И первым открыл этот путь Н. Н. Урванцев. И водную дорогу по Пясине первым прошел он, и трассу будущей железной ветки на Дудинку первым прикинул он же.

Первопроходцам завидуют: они вправе давать имя не изведанным дотопе местам. Завидуют, что и свои имена, связанные с тем или иным открыти-ем, они оставляют человеческой истории.

По мне, если уж завидовать первопроходцам, то в ином: в умении естественно и просто делать нужное дело, каким бы трудным оно ни казалось, в умении никогда не отступать, не искать компро-миссов. Только поэтому все свершенное перво-проходцами позже называют героическим, хотя никто из них никогда не шел на подвиг. Просто они шли первыми. А это уже есть героство.

ЕЩЕ ОДНА ПЛОТИНА НА АНГАРЕ.

РЕШЕНИЯ
XXXV
СЪЕЗДА КПСС
ВЫПОЛНИМ!

ПОДЖКОВА
НА
СЧАСТЬЕ



**Михаил
СМОРОДИНОВ,**
участник
VI Всесоюзного
совещания
молодых
писателей,
специальный
корреспондент
«Смены».

Фото
Алексея
ГОСТЕВА.

**МАШИНИСТ КРАНА
КОМСОМОЛКА
СВЕТЛАНА
ЗАДОНСКАЯ СТРОИТ
ГОРОД.**

**РОТОР ДЛЯ
ВОСЬМОГО АГРЕГАТА**

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ ЛИСТОПАД

Вопрос о падающих деревьях зародился у меня еще в Братске. Вдоль пробитой в сопках асфальтовой автострады громоздились завалы из десятков вывороченных таежных великанов. Обнаженные корни шевелились на ветру, как щупальца инопланетных чудищ. Соседи поваленных деревьев — сосны, лиственницы, долговязые тонкие березы — стояли не вертикально, а наклонно, угрожая рухнуть, как Пизанская башня.

Та же картина повторилась и в Усть-Илимске кренившиеся посохшие лиственницы, упавшие сосны, березы со сломанными верхушками. Размышляя над загадкой падающих деревьев, я вроде не замечал великолепия осенней тайги, ее богатых красок: золотых, коричневых, светло-зеленых вблизи с переходом в голубое и темно-синее на горизонте, где таяли в небе очертания дальних сопки.

Дорога, проложенная по берегу Ангары, вильнула вправо, открывая вид на Усть-Илимск. Не скажу, что первое впечатление от увиденного было восторженным. А на восторженность меня настроил попутчик-геолог: семь часов, пока наш ТУ-154 летел от Москвы до Братска, и сорок минут полета от Братска до Усть-Илимска попутчик рассказывал об этом городе, уверяя, что со временем он станет настоящей жемужиной Сибири. Правда, геолог упоминал о «болезни роста», о некоторых частностях...

Эти самые частности и открылись взгляду, когда идущий с аэродрома рейсовый автобус въехал в город. Справа, на пологую сопку, карабкались домишки «самстроя», напоминающие будочки, какие строят на садовых участках. Впереди сузились двухэтажные сборно-щитовые дома. Забегая вперед, оговорюсь: в беседе с комсомольцами отряда имени Николая Островского я имел неосторожность назвать подобный дом баракком. Видели бы вы, как обиделись ребята, какими глазами смотрели на меня! У них, знакомых с прелестями палаточного быта, язык бы не повернулся неуважительно отозваться о своем теперешнем жилище.

Тем более что дальше, поднимаясь от берега Ангары и врезаясь в поросшие соснами сопки, встает



ли современные пяти- и девятиэтажные здания, виднелись неплохо оборудованные детские площадки, сверкал свежей краской вывески новый магазин-автариум...

Я шел от автобусной остановки по асфальтированным улицам юного города, разглядывая многоисленные кумачовые лозунги на стенах зданий, ненароком запоминая фразы беседующих прохожих.

Город пока невелик, но уже имеет достаточные размеры, чтобы в нем заблудиться новичку. И устылимицы почитают святой обязанностью помочь приезжему. Вежливость их может в этом случае соперничать с эталонной вежливостью ленинградцев. Охотно и обстоятельно растолковывали мне прохожие, как пройти к горному комсомолу. Добрался туда благополучно, хоть в душе сомневался в конечном успехе этого похода: пятница, семь часов вечера, разве кого-то в горке застанешь?! Но я ошибся.

— Дел, что называется, невпроворот. Выходные прихватываем, а о вечерах и говорить не приходится,—объяснил секретарь горкома комсомола Валерий Кондратьев.—У нас работа, как в горячем цеце,—круглосуточная.

И с ним нельзя не согласиться. Впервые в практике комсомольской работы в одном городе одновременно ведутся три Всесоюзных ударных комсомольских стройки. И каждая из них—гигант: Усть-Илимская ГЭС, строительство самого города Усть-Илимска, и третья—лесопромышленный комплекс, способный переработать в год пять с половиной миллионов кубометров древесины. К тому же ЛПК является стройкой СЭВ. Значит, надо было позаботиться о строительстве общежитий для иностранных рабочих—комсомольцев Болгарии, ГДР, Польши, которые прибывают на стройку.

Рассказывая о заботах города трех ударных строек, Валерий не забывал накручивать телефонный диск, утрясая и мою частную гостиничную проблему. Она разрешилась благополучно, и мы договорились с Валерием встретиться завтра, чтобы осмотреть стройки. Правда, я намекнул, что в выходной день ему неплохо бы отдохнуть, побыть с семьей. Но оказалось, что завтра в городе ждут гостя—главного балетмейстера Большого театра Союза ССР Юрия Николаевича Григоровича.

— Насколько известно, он работает над постановкой балета «Иркутская история»,—пояснил Кондратьев.—Не знаю, помогут ли ему увиденные движения рук бетонщиков или бульдозеристов в создании новых балетных па, но размах стройки и ее люди вдохновят его, факт. Так что присоединяйтесь.

На прощание я не удержался и задал Валерию мучивший меня вопрос о падающих деревьях.

— Недра у нас богатые, и тайга богатая, а почва—сплошные диабазы, даже картошка родится твердая, тяжелая, темная, как камень. Вдобавок вечная мерзлота. Корни деревьев вглубь не идут, змеятся по поверхности. Чуть посылить ветер—и одиночные деревья валяются. Заметили, как мало деревьев в Братске, да и у нас негусто? Оставляли аллеи из таежных великанов, а теперь—голо. Да и крупные массивы сильно пострадали от прошлогоднего урагана. Крепко он тут похозяйничал.—Валерий, приводя точные детали, стал рассказывать об урагане, ставшем для устылимицев суровым экзаменом, о мужестве строителей.

В девятиэтажной гостинице «Тайга», припоминая наш разговор, я до мельчайших подробностей представил свирепость урагана, рвущего провода ЛЭП, срывающего с места многотонные двухконсольные краны на плотине, ломающего вековую тайгу...

*Блеском молний распорот
неба черный экран.
На плотину, на город
идет ураган.
В ураганном разгуле—
листопад, листопад.
Вдоль расхристанных улиц
листья кровли летят.
Забираясь все выше,
словно шиферный змей,
в небе кружится крыша
и антенна на ней.
Мох ползет с диабазов,
смыты стайки опять,
сосны падают наземь...
А люди—стоят.
Как их ветер кусает!
Не жалуют себя,
штормовыми тросами
механизмы крепя.
Усть-илимский экзамен,
ураганый погром...
Если сдюжит хозяин,
значит, сдюжит и дом.*

Хозяин сдюжил в ураган. Но есть в тайге зверь страшней урагана. Забыв о предостережении Кондратьева, я, включив свет, работал, не закрыв окно.

Потом, захлопнув блокнот, уснул как убитый, а утром едва поднялся. Тело зудело от укусов, веки набрякли и почернели, от глаз остались узкие щелчки... Так произошло знакомство с вездесущей таежной мошкой, от которой не спасают распыляемые с самолетов химикаты, перед которой бессилён накомарник и даже патентованный «Репудин».

ОШИБКА НА КАРТЕ

Фотография красавицы сосны с мыса Пурсей у Падунского порога в свое время кочевала по журналам, став своеобразным символом строительства Братской ГЭС. Таким символом для устылимицев является стометровый диабазовый Толстый мыс.

Здесь в ноябре 1962 года высадились первый десант—семь человек во главе с ветераном Братска Иннокентием Перетолчиным. Строители пробились сквозь тайгу к створу будущей ГЭС и начали первые работы. Настоящий размах строительство обрело в 1966 году, так что городу нет и десяти лет. Впрочем, то, что сейчас именуется Усть-Илимском,—лишь один из районов будущего города, поселок гидростроителей. А кружок на карте Сибири, обозначенный пока на левом берегу Ангары, картографам предстоит перенести вправо.

По сути, одна из примет быстрого освоения Сибири та, что на картах не успевают отмечать фактические изменения лика этого богатейшего края. Памятен разговор с начальником штаба ударной комсомольской стройки—строительства города Усть-Илимска Петром Подтелковым. Он приехал сюда по комсомольской путевке из Чернигова. В ЦК ЛКСМ Украины будущим новоселам рассказали все, что знали о городе, его стройках. А когда стали искать его на карте Союза, не нашли. Но ведь он тогда уже существовал—наполовину бетонный и деревянный, наполовину палаточный. С уважением разглядывал я в паспорте Петра выцветший лиловый штамп прописки: «Усть-Илимск, палатка».

А сейчас с высоты Толстого мыса открывается панорама левобережья, мощный жилой массив, производственные корпуса, надежная подкова почти набравшей проектную высоту плотины с парящими над ней стрелами кранов, и хорошо видна железнодорожная станция на правом берегу и две дорожки, ведущие к ЛПК и новому городу. По одной из них, разбитой колесами БелАЗов и мощных панелевозов, мы добрались до первого микрорайона будущего Усть-Илимска.

Каким будет этот город, показывала большая схема у края дороги. Представьте прямоугольник, разделенный на четыре части, две из которых, соприкасающиеся углами, заштрихованы. Заштрихованное соответствует сохраняемому таежному массиву, остальное—площадь застройки.

— Первую сваю забили в январе 1975 года,—с любовью заправского гида пояснил Кондратьев, когда мы, одуревшие от тряски, вывалились из автобуса к надписью «Интурист».—А теперь многие корпуса уже готовы, строители стараются.

Действительно, и в этот субботний день стройка жила напряженно, деловито: грохотала машина для забивки свай, рычали бульдозеры, стрелы башенных кранов ключовато поворачивались, переносы грузы, послушно откликаясь на извечное «майна-вира». Меж сосен серыми глыбами громоздились пятиэтажные коробки будущих общежитий, а стройка углублялась дальше, в тайгу.

— Вот вы любопытствовали по поводу индивидуальных домиков, нашей пресловутой «нахаловки»,—продолжил Валерий.—В пору палаток их строительство даже поощрялось. Теперь общежитиями обеспечены все, и горсовет всяческий «самстрой» не разрешает. Но представьте, что еще больше тысячи наших молодоженов не имеют не только квартиры, даже комнатки, и помочь им мы пока не в силах. Молодежь нашла выход. После свадьбы собирается ударная комсомольская бригада, вечером из строительных отходов начинают ладить дом-временку, а к утру занавесочки висят. А чтобы ликвидировать временку, необходимо срочно застроить правобережье. Но здесь возникает серьезнейшие проблемы по строительству санитарно-технических сооружений, водозабора, электрокотельной. Сами понимаете, что готовые коробки без тепла и воды ничего не значат, так что эти работы у нас максимально форсированы.

Строители спешат. Спешил и бульдозерист, роющий широкую траншею для будущих коммуникаций. Отполированным до зеркального блеска ножом бульдозера он угрожающе нацелился на вставший поперек дороги автобусик, и мы были вынуждены срочно ретироваться на строительство ГЭС, где нам обещали показать монтаж одного из агрегатов.

Пока водитель лавировал, выбирая между ухабов путь поровней, в салоне завязался разговор о гостях Усть-Илимска. Начал его Григорович, предположив, что на автобусе надпись «Интурист» сделана не зря.

— Гостей много, факт. Приезжали кубинцы, восхищались стройкой, снимались на фоне заснеженной тайги, спорили, кто сильнее морозной куржевиной покрывлся. Гостили у нас и чехи, и немцы, и американцы.

Удивлялись американские молодые сенаторы, въедливые, дотошные, которые превратили встречу с председателем горсовета Юрием Федоровичем Федотовым в настоящий «допрос с пристрастием»: как у вас дела с хлебом, мясом, одеждой, жильем... вплоть до спичек.

Восхищало американцев мужество монтажников ЛЭП, которые сквозь тайгу, окруженные летом тучами мошки, а зимой—клубами морозного пара, вели мачты высоковольтных линий.

...За автобусным разговором незаметно приехали к ГЭС. Давая дельные пояснения, Кондратьев повел нас в машинный зал. Чувствовалось, что маршрут Толстый мыс—новый город—ГЭС—ЛПК знаком ему до мелочей, а быть экскурсоводом, по всей вероятности, ему надоело до чертиков. И после, когда мы побывали на строительстве лесопромышленного комплекса, со словами благодарности я высказал Валерию намек, что гостевой маршрут меня не совсем устраивает, а желательно побольше узнать о судьбах и жизни молодых строителей, благодаря которым города на земле появляются быстрее, чем их успевают нанести на карту. Кондратьев посовещался с местным поэтом, токарем Василием Глушковым. Он на стройке давно, половину горожан знает и интересными людьми познакомит немедленно, только попроси.

СЮЖЕТ ДЛЯ БАЛЛАДЫ

Василий Глушков, войдя в гостиничный номер, как-то сразу заполнил его. И виной тому неумная энергия Василия. Сухощавый, среднего роста, улыбочивый, он, что называется, сразу «взял быка за рога»:

— У меня идея—познакомить вас с бытом горожан на всех уровнях, то есть общежитие, сборный дом и благоустроенная квартира старожила, идете?

Пока я собирался, Василий успел по телефону выяснить адреса лучших работников своей организации, стоящих на очереди на покупку ковров и мотоциклов.

— Надо будет забежать к ним, оповестить, чтобы выкупали товар. Удивляетесь, почему занимаюсь распределением? Ребята избрали комсоргом, так что все приходится делать, даже распределять ковры и мотоциклы. Заработки у ребят не сказать чтоб баснословные, но большому количеству хватает. Сейчас все радуются увеличению нашего порайонного коэффициента. Не в деньгах счастье, но матстимул—сами понимаете. Заметили, наверно, что у наших ребят много техники, мотоциклов разных? Как бродячих собак...

Кстати, собак, верных спутников таежных новоселов, в Усть-Илимске впрямь хватает. Занимаясь своими собачьими делами, псы разных пород, размеров и расцветок разгуливают по улицам. Причем их вид, как и надлежит таежным собакам, полон достоинства. Видя их и подступившую к домам угрюмую тайгу, невольно вспоминаешь клондайкские рассказы Джека Лондона, суровый быт первопроходцев Севера. В чем-то его герои сходны с молодыми покорителями Сибири, но коренная разница—в целях покорения «белого безмолвия» теми и другими. Одни поднимались миль на шестьдесят вверх по Юкону, чтобы испытать фортуна, намыть свой миллион. Другие пришли в зону вечной мерзлоты, чтобы впрячь в работу могучую реку и подарить стране миллиарды—миллиарды!—киловатт дешевой электроэнергии. Быт их пока тоже нелегок, но они наладят такой быт, какой захотят.

— К уюту не стремлюсь, рижскими гарнитурами не обзавожусь,—шутливо сказал Василий, пока я разглядывал маленькую комнату с двумя кроватями, из-под которых виднелись выдавшие виды чемоданы.

— Извините, не убрано,—добавил он, закидывая постель простым одеялом.—Меня неделю здесь не было: к соседу жена прикатила, ну и... Сами понимаете. А сегодня он ее проводил, так что я опять «квартиренный». Не знаю, надолго ли: на Кадинскую займку ушел от нас первый караван, значит, скоро начнется широкое строительство на Богучанской ГЭС. Может, махну туда. Хочу начать строить с нуля и до конца свою подкову. На счастье... А некоторые, конечно, осядут здесь.

— Я останусь в Усть-Илимске,—твердо сказал Михаил Симонов, командир интернационального строительного отряда имени Николая Островского. Михаил приехал сюда по комсомольской путевке из Баку. И обосновался прочно, привез жену, двух сыновей. Свою квартиру в двухэтажном сборно-щитовом доме он старательно обихаживает: стены комнаты обил обожженными деревянными брусками, для красоты:

утеплил двери. Огромный цветной телевизор солидно утвердился в углу комнаты, посреди нее надежно встал стол. И полки на кухне, сделанные хозяином, такие же обстоятельные и надежные. Смотришь и веришь, что хозяин этой квартиры приехал на ударную комсомольскую жить и работать не на день, а, как говорится, до победного...

— Были у нас в отряде и слабаки, те, что сбежали при первых трудностях, — неохотно вспоминает Михаил. — А об оставшихся худого слова не скажешь, девчонки и парни что надо, в пору о каждом роман писать. Вот Валя Мугиалова из Таджикистана, плотник-бетонщик на строительстве ЛПК. Работа, честно сказать, не женская, но Валя некоторым мужчинам в деле способна фору дать. Или монтажник Саша Барановский с Украины, или молдаванин Кресту Алфонс, шофер-«кразист», или плотник-бетонщик Михаил Муравлев, наш депутат горсовета... Нет, если вы захотите просто перечислить всех бойцов отряда, кто здорово работает, строит свой город, придется назвать минимум шестьсот фамилий, блокнота не хватит...

Михаил прав. Но об одном из строителей Усть-Илимска, работающем бульдозеристом, я просто обязан рассказать. Судьба его сложна и трагична. Разные причины привели молодых людей на ударную стройку, и дальше будет сказано о некоторых из этих причин. Случай, который заставил демобилизованного моряка приехать в Сибирь, нехарактерен. Но жизнь поставила этого человека в такую конфликтную нравственную ситуацию, выход из которой найти практически невозможно. Выполняя обещание, не называю его имя, и вы поймете, почему, из стихотворения, которое можно было бы назвать «Сюжет для баллады о двух братьях».

Как на флотской, на срочной,

служили два брата,

как ходили они на «коробке» одной...

Навалился внезапно тайфун бесноватый.

Море

старшего брата

слизнуло волной.

Весть помчится домой,

весть черней черной ночи...

Младший брат, стиснув зубы, к начальству идет:

— Понимаете, мама больна у нас очень.

Похоронка убьет нашу маму, убьет!

В сейф поглубже запрятать казенные строки,

пусть простит меня мама за то, что солгу,

будто с братом мы едем на новую стройку,

в Заполярье куда-нибудь или в тайгу.

...Он приехал один.

Но для двух биографий

впрямь хватило и дел, и невзгод, и наград...

Я листаю альбом, и глядит с фотографий

стройный, в форме матросской

живой младший брат.

Вот таежный пейзаж, и на нем братья.

Вместе!

Вот на стройке они...

Чертовщина, мираж:

брат погубивший стоит, улыбаясь невесте!...

— Я женил его в письмах,

а снимки — монтаж.

...Парню горе тащить каково в одиночку?

А оно неизбывно стоит над душой.

Пишет мать:

«Погостить приезжайте, сыночки.

Очень рада, что все там у вас хорошо.

А сама не нагряну, путь очень неблизкий...»

Ночь кончается.

Звездам пора на постой.

Я молчу,

и склоняю я голову низко

перед чувством сыновним,

перед ложью святой.

Правильно ли поступил герой баллады, утверждать не берусь, но преклоняюсь перед его решимостью и мужеством. Правда о нем известна на стройке немногим, знакомству с ним я обязан Василию Глушкову, знающему действительно чуть ли не половину жителей Усть-Илимска.

Когда среди молодых строителей Братска распространили анкету с вопросом, что заставило их приехать на ударную стройку, из 540 опрошенных большинство ответило: «Стремление быть там, где проходит передний край борьбы за создание материально-технической базы коммунизма»; «перспектива сооружения крупного предприятия»; «поиск необычного, желание воспитать волю в борьбе с трудностями»... Очень малая часть мотивом приезда назвала желание улучшить свое материальное положение.

Если подобную анкету распространить среди комсомольцев Усть-Илимска, ответы, уверен, будут аналогичными. Не оклад же в сто пять рублей удерживает здесь руководителя молодежного самостоятельно театра Василия Гуляева! Окончив театральный

факультет Дальневосточного института искусств, он оставил отличное — по мецанским представлениям — место работы в Одессе и махнул в Сибирь.

Я видел Василия во время репетиции, на которую собрались самодеятельные актеры — бетонщики, трактористы, маляры, инженеры. Василий, лохматая широкой ладонью буйную шевелюру, хриплым, протуженным голосом втолковывал героине, в чем она фальшивит.

Режиссера слушали внимательно, уважительно.

— Трудно! — хрипло признается Василий. — Трудно с помещением, ведь репетировать надо каждый день, а нам предлагают раз в неделю. Трудно собирать людей на репетиции: все работают в разных организациях. Сегодня целый день «сидел на телефоне», обзванивал руководителей предприятий, чтобы моих артистов отпустили для выступления в полях перед горожанами, работающими на уборке картофеля. Там, на картошке, полгорода! Умолял, ублажал, грозил — даже охрип. Но... едем!

В голосе режиссера такая неподдельная радость, что нельзя не разделить ее. Пусть пока худо с помещением, нет костюмов, реквизита... Но Василий Гуляев, человек взрывной направленности, готов репетировать хоть в поле, хоть на таежной поляне, мечта подарить городу молодежный театр. А человек, одержимый высокой мечтой, своего добьется.

У Оли и Светы, молодых преподавателей музыкальной школы, та же, что и у Василия, цель: приобщать людей к искусству. Но настроение у девчат не лучезарное, особенно у Оли.

— Плохо, что некоторые в юном городе сохраняют дремучую мецанскую психологию, — жалуется Оля. — Учеников у нас мало. Свете легче, у нее занимаются четырнадцать человек, а у меня — четыре, по классу скрипки. Спрашиваю одну родительницу, зачем она перевела своего сына от меня в группу Светы учить игре на фортепьяно, ведь у мальчика способности к скрипке. Отвечает: «Зачем мне ваша скрипка? Повесишь на стенку, и не видно. А пианино — вещь, увидят в комнате, сразу поймут, что в доме музицируют...»

Тогда я не смог утешить Олю, а сейчас, зная некоторые факты, наверное бы, сумел. Сказал бы, например, что Усть-Илимск — самый «свадебный» город Союза: из сорока пяти тысяч жителей почти девять тысяч — молодожены. И рождаемость здесь на высоте. Так что в ближайшем будущем у Светы и Оли от учеников не будет отбоя. А родителей этих будущих учеников в мецанском мировоззрении едва ли обвинишь...

ПОДКУЕМ АНГАРУ!

Зима ошалела. Полторы недели столбик термометра не поднимался выше минус пятидесяти шести. Даже тощий снеговой слой посинел от холода. Но про распоряжение — отменить работы на открытом воздухе — все словно забыли.

В это утро Коля Осадчий забыл в общежитии сигареты, и, пока бегал за ними, машина с рабочими ушла на плотину: решили, что парень вдруг вспомнил о распоряжении, мороза испугался.

Подгоняемый попутным ветром, по улице Романтиков Осадчий побрел через пустынный, словно вымерший город. Даже собак — и тех не было на улицах: все живое спряталось от мороза, где могло. Все спряталось, кроме строителей ГЭС. Об этом напоминательный рев моторов, доносившийся издалека, с плотины. Припомнив, что есть два способа греться у костра (первый — стоять у пламени, второй — таскать к костру сучья), Осадчий воспользовался вторым, стараясь согреться пробежкой. Ничего не получилось: не хватало воздуха для дыхания. Кое-как добрался до плотины.

Оставался пустырь — одолеть без малого километровую эстакаду. А там и правый берег Ангары, прорабская, раскаленная докрасна «буржуйка»... Коченея, Коля с огромным трудом передвигал непослушные ноги. Валенки оледенели, и метров за десять до цели Осадчий упал. Казалось, что сил подняться не останется.

Бригадир изумленно глянул на ввалившегося в теплушку Николая.

— Пешком добрался? Даешь, паря! Ты же щеки поморозил!

Кто-то из ребят выскочил на улицу, зачерпнул снега. Осадчего усадили поближе к печке... А через полчаса он сел в ледяную кабину бульдозера и работал всю смену.

Я рассказал об этом незначительном эпизоде из жизни мужественного парня, начальника комсомольского оперативного отряда Коли Осадчего, чтобы напомнить о цене, какой дается каждый шаг освоения Сибири. Здесь даже простой путь человека, идущего на работу, может стать дорогой подвига, потребовать от человека всего мужества, стойкости.

Люда Гутьра и Маша Руденок трудились на Гомель-

ской трикотажной фабрике, откуда романтика большой стройки позвала их в Усть-Илимск.

— Мама провожала, причитали: куда, мол, на край света! Что вы в строительстве понимаете, неумеи?! Мы и вправду раньше не знали, куда шпатель повернуть. Теперь любую штукатурную и малярную работу выполним, научились, — усмеяется Маша.

— Только зима не понравилась, холодная она, — добавляет Люда. — Руки замерзнут, пальцы не гнутся, плакать хочется. А мы соберемся, печку растопим, руки погреем, песню споем. И вроде легче, снова можно штукатурить. Зато весной — красотища, цветы, особенно багульник. И летом хорошо, только мошка злющая, опухали от нее. Нынче полегче было: то ли мы привыкли к мошке, то ли она к нам... Прижились.

Хрупкие эти белорусские девчонки прижились на суровой земле и благоустраивают ее. Тепло их рук помнят многие дома молодого города, в том числе и современное четырехсотместное общежитие для иностранных рабочих.

И придет пора, когда самим девчатам не потребуется во время работы озябшие руки отогревать у печки. Проектировщики стройки СЭВ — мощного лесопромышленного комплекса, где, возможно, в будущем станут трудиться Маша и Люда, предусмотрели в проекте все, что поможет бороться с лютыми морозами. Чем же отличается строящийся ЛПК от уже действующих собратьев, например, Братского?

Впервые в практике на Усть-Илимском гиганте лесохимии будут на громаднейшей площади сблокированы под одной крышей все основные цеха и к ним подсоединены крытыми коридорами вспомогательные службы. Это не только даст ощутимую экономию электроэнергии, пара, строительных материалов, но и значительно облегчит труд пятнадцати тысяч рабочих, которым предстоит стать хозяевами будущего комплекса. В год ЛПК будет вырабатывать 550 тысяч тонн товарной целлюлозы; 1,2 миллиона кубометров пиломатериалов; 250 тысяч кубометров технологической щепы и многое другое.

Расчистка площадей для строительства комплекса началась в январе, а сейчас здесь уже высится несколько корпусов. На строительной площадке, когда мы там были, велась разгрузка металлоконструкций, поступивших из ГДР. В ближайшее время сюда придут панели из Народной Республики Болгарии.

Стройка растет шире и выше, и, как на любом из гигантов, точный инженерный расчет, строгость индустриального пейзажа соседствуют с лирикой. Об этом напоминает трогательная надпись, сделанная на отчаянной высоте каким-то влюбленным монтажником: «Люда, приезжай!» И... три восклицательных знака.

Завершая рассказ о городе трех ударных комсомольских строек Усть-Илимска, нельзя не вспомнить прозорливые слова Михаила Васильевича Ломоносова: «Российское могущество произрастает будет Сибирью...» Его пророчество сбывается в наше, советское время, и особенно это ощущается в Приангарье.

Именно в энергетическом отношении Ангары среди наших рек занимает особое положение. Байкал и притоки обеспечивают ей постоянный, почти равномерный сток, падение воды от истока до устья велико, что позволяет обеспечить загрузку агрегатов нескольких высоконапорных гидроузлов. И энергия обходится дешевле, чем у равнинных рек. Например, при почти равной стоимости строительства Усть-Илимской и Нижнекамской ГЭС мощность первой больше в девять раз.

Недаром сообщение о караване из пяти судов, пробившемся до Кодиной заимки, обрадовало многих устьилимцев. Доставлены строительные материалы, техника, топливо, секции сборных домов. А это значит, что здесь, у створа будущей Богучанской ГЭС, началось строительство пионерного поселка, готовятся плацдарм для завершающего, четвертого наступления на Ангару... И непоседы вроде Василия Глушкова извлекут из-под общежитских коек потрепанные чемоданы и двинутся дальше, на север, чтобы, начав с нуля, построить на счастье себе и людям бетонную подкову новой плотины.

Зря ль поверье такое
придумал народ,
что нашедший
подкову
с нею счастье найдет?
Мастерство кузнецово
и железо цена,
за четыре подковы
встарь

давали коня.

В край таежный, суровый
кузнецами придем.
На четыре подковы
Ангару подкуем.
В проходах заискрится
миллиард киловатт...
Пусть летит кобылица,
пусть подковы звенят!

Мой брат Валерик

В год Победы двадцать второго июня весь день шел дождь. Зарядило с самого утра, потом вплоть до ночи на землю обрушивались нескончаемые потоки и, казалось, не утихали, а становились все обильнее, все гуще.

Моя няня Варвара Ефимовна, которую я с детства почему-то привыкла звать Степой, сказала, глядя в окно, сплошь залитое дождевым шквалом:

— Слезы людские льются...

— Какие слезы?— удивилась я.— Дождь со слезами путаешь...

Степа покачала головой.

— Нет, это не дождь, а слезы, плач по убитым...

Мы стояли с нею плечо к плечу возле окна, и я знала, что она вспоминает сейчас о том же самом, о чем вспоминаю я: о теплушках поездов, которые проносились нескончаемо, зшелон за зшелоном. В них ехали солдаты на фронт, молодые, сильные, здоровые; мне они казались в ту пору все одинаково красивыми и одинаково молодыми. Мы жили тогда в Лосинке, совсем рядом со станцией, и с первых же дней войны, не сговариваясь, шли вместе со Степой на станцию, подолгу стояли там, глядя на мелькавшие мимо зшелоны.

Должно быть, в одном из таких вот воинских составов уехал на фронт и мой папа.

Он многие годы подряд жил в Смоленске, у него уже давно была другая семья, и мне приходилось видеть его три-четыре раза в год, не чаще.

Обычно он приезжал с Валериком, своим сыном от второго брака. Валерик был моложе меня лет на семь—большеглазый худыш, остролицый и застенчивый.

Папа появился у нас с ним однажды днем, позвонил в дверь, я открыла, увидела мальчика с широко распахнутыми темными глазами, а за ним папу.

— Вот,—сказал папа, подталкивая мальчика вперед.— Это твой брат, познакомься...

— Я Катя,—сказала я, протянув ему руку.

Он поднял на меня свои круглые глаза, медленно пожал мою ладонь и снова убрал руку за спину.

Я посмотрела на него и поняла: глаза у моего брата вовсе не темные, а такие же, как у меня, серо-голубые. Темными они кажутся от длинных, густых и пугливых ресниц.

— Как тебя зовут?—спросила я.

Он молчал.

— Говори же, как тебя зовут,—сказал папа.

— Валерик,—хриплым голосом ответил брат.

— Давай пускай нас в дом,—сказал папа.— Мы ведь прямо с поезда.

Я посторонилась. Папа вошел в коридор, подталкивая вперед Валерика. А из кухни навстречу им уже шла мама, улыбаясь и качая головой.

— Я думала, что никогда его не увижу...

Она наклонилась к Валерику, потом обернулась к папе.

— Очень похож на тебя...

— Разве?—спросил папа; мне показалось, ему по душе мамы слова.

— Ну, быстрее мыться и за стол,—сказала мама.— Я уже третий раз чайник подогреваю.

Мы сидели за столом, пили чай, когда с рынка пришла Степа.

Папа сказал:

— Варваре Ефимовне—мой привет.

Степа сухо кивнула и вышла из комнаты. И тотчас же мы услышали, как на кухне что-то зазвенело и разбилось, словно тарелкой об пол шваркнули.

— Характерец все тот же?—улыбнулся папа.

— Разумеется,—ответила мама.

— Ничего не поделаешь,—сказал папа.— Но дело сейчас вот в чем: я хочу, чтобы ты помогла мне.

— Что надо сделать?—спросила мама.

— Надо купить этому молодому человеку зимнее пальто и лыжи с ботинками.

— Хорошо,—сказала мама.

Я спросила:

— А что, у вас в Смоленске нельзя купить зимнее пальто и лыжи?

— Катя!—строго оборвала меня мама, но папа сказал примирительно:

— Погоди, Вера, я ей объясню по возможности популярно.—И начал:—Понимаешь, Катя, я очень много работаю, я преподаю в двух школах и еще в техникуме, времени ну совсем нет, а Зина, мама Валерика, она тоже очень занята...

— Да ладно,—сказала я.— Пойду вместе с мамой, будем с ней искать для Валерика пальто, лыжи, ботинки и, если хочешь, даже птичье молоко, мне не жалко...

В коридоре раздался звонок. Степа прошагала по коридору, открыла дверь. Мы услышали голос Василия Васильевича, нашего соседа. В прошлом году Василий Васильевич, старый машинист, ушел на пенсию и теперь по целым дням читал книги; он брал в библиотеке охалки романов, приключенческих повестей, юмористических рассказов и читал все подряд, запоем...

— Вот,—громко сказал Василий Васильевич, каждое его слово долетало до нас,— дали мне в библиотеке произведение Жоржа Санды «Консуэло». Читали, Варвара Ефимовна?

— Будет вам,—отозвалась Степа.

Мы с мамой переглянулись. Степа кипела; словно самовар без воды, и мы обе боялись неминуемого взрыва.

Папа с мамой разошлись, когда мне было что-то около семи лет.

Мама говорила о папе:

— Он очень хороший человек, и ты должна любить и уважать его.

— Почему вы не живете вместе?—как-то спросила я.

— Так получилось,—ответила мама.— Только, пожалуйста, не вини его—ни он, ни я не виноваты...

Степа объяснила мне все как есть.

Папа и мама вместе учились в университете. И поженились, еще учась на третьем курсе; тогда папа переехал к маме, в Лосинку, где мама жила с бабушкой.

Я родилась в тот самый год, когда умерла бабушка. И маме было очень тяжело: подпирала выпускные экзамены, надо было много готовиться, а тут на руках семья: я и папа—папа сам признавался, что не выносит решительно никаких хозяйственных забот, и ничем не помогал маме.

И тогда к нам пришла Степа. Она была старинной знакомой бабушки, жила неподалеку, у сына, здорово не ладила с невесткой и все порывалась уехать куда-то в Полесье, откуда была родом и где жили земляки, помнившие ее с юности.

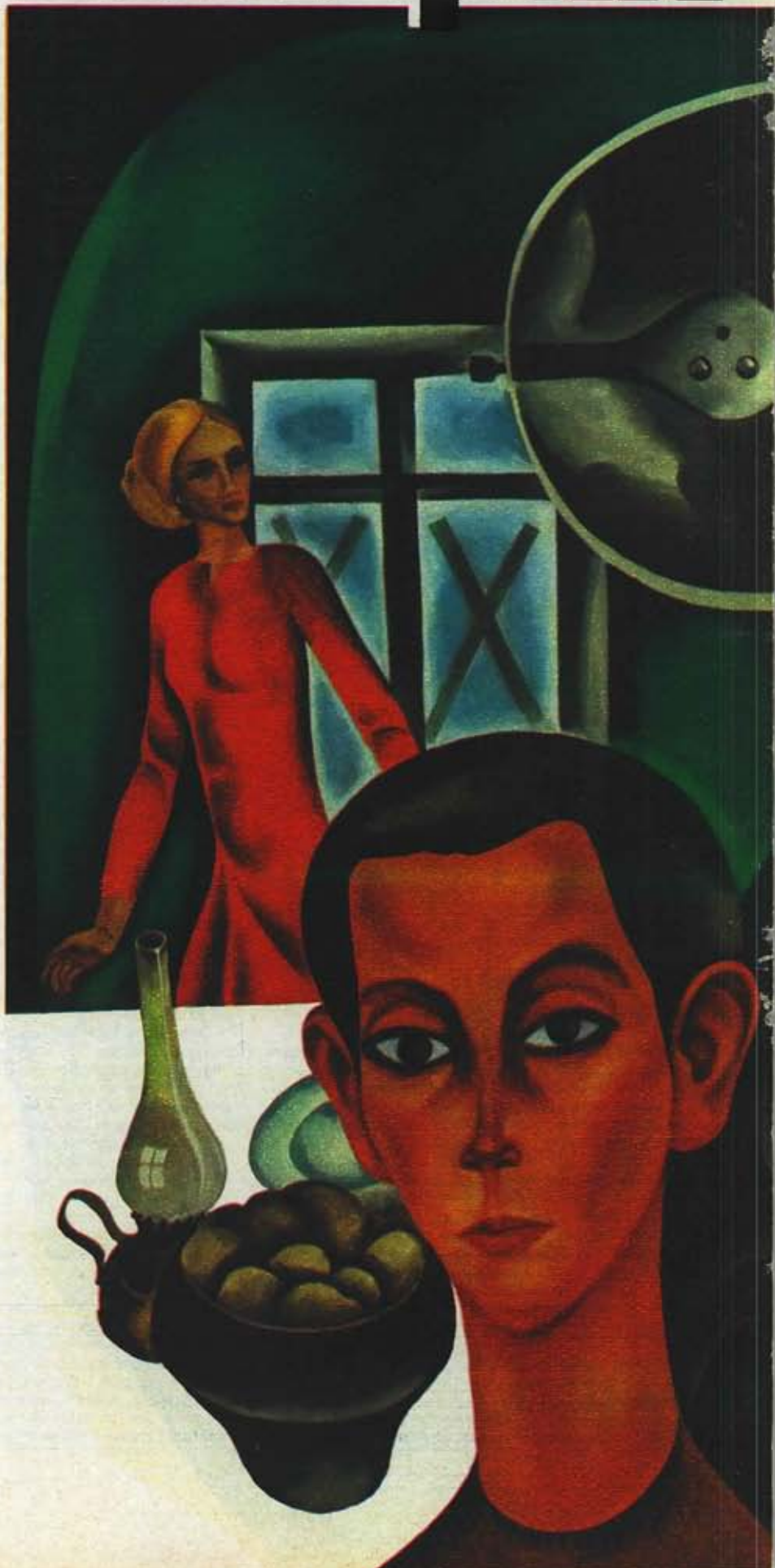
По словам Степы, как только она вошла в дом и увидела маму, ходившую по комнате, держа меня на руках, и по дороге то и дело заглядывавшую в книгу на столе, она сразу же решила: здесь я останусь.

Она взяла меня у мамы, и—о чудо!—я вдруг перестала орать.

А Степа сказала:

— Садись давай, учи как следует, я с нею буду...

С того дня в доме наступило полное благополучие. Я была ухожена, мама и папа могли



готовиться к экзаменам сколько угодно, когда они приезжали из Москвы в Лосинку, их всегда ждал обед...

Мама сказала Степе:

— Тетя Варя, я ведь не могу вам платить зарплату, у нас две стипендии, и все.

— А я разве прошу?—спросила Степа.

У нее были небольшие сбережения, и она охотно вносила их в общий небогатый котел. И первая предложила сдать на время бабушкину комнату какому-нибудь тихому жильцу, непременно одинокому и непременно мужчине. Пусть доход и небольшой будет, а все помощь. Но она ни за что не хотела сдать комнату женщине.

— От бабы одно беспокойство,—говорила.—То стирка, то глажка, то еще что-нибудь, а мужик, он, как голубь, повертелся, взлетел—и нету его.

Бог его знает, где повстречался ей Василий Васильевич, но как-то она привела его, сказала:

— Вот подходящий жилец, лучше не придумаешь.

Василий Васильевич водил поезда в Сибирь, бывал в отсутствии по десять—двенадцать дней в месяц, семьи у него не имелось, по всему было видно, как считала Степа, человек он тихий, положительный и, кажется, непьющий.

Он снял у нас комнату на год, через год ему обещали дать комнату в новом доме, однако прошло и три и четыре года, комнаты ему все не давали; сперва он ходил, узнавал, просил, пробовал добиваться своей жилплощади, потом прижился у нас и остался жить уже, должно быть, до последнего своего часа.

Степа говорила:

— Мы что, дикари какие-то, нешто выгоним старого человека на улицу?

И мама соглашалась с нею, а папа, беззаботный, беспечный, словно мотылек, пожимал плечами:

— Делайте, как хотите...

Жили они с мамой вроде бы хорошо. Оба окончили университет, поступили работать.

— Была семья как семья,—говорила Степа.—Все, как у людей, не хуже...

А потом папа стал приходить домой поздно и всегда находил какие-то отговорки и объяснения: то на поезд опоздал, то у него на работе затянулось допоздна совещание, то еще что-то...

Мама верила всему, что он говорил, не пытаясь хотя бы проверить его слова: она была доверчивой и судила обо всех людях по себе.

Но как-то папа не приехал ночевать. Мама не спала всю ночь и утром чуть свет помчалась в Москву узнать, не случилось ли с ним какого-либо несчастья.

— В конце концов Москва не деревня,—утверждала мама, поспешно одеваясь. Степа хранила упорное молчание, но, когда мама побежала на станцию, уронила сквозь зубы:

— Как же, Москва виновата...

Вечером мама с папой приехали вместе. Папа был весел, очень оживленно и подробно рассказывал, что его начальник переехал на новую квартиру и затащил его к себе на новоселье, а отказаться, сами понимаете, неудобно, как ни говорите, начальник, не кто-нибудь, и в то же время как дать знать, если дома нет телефона?

Мама кивала:

— Конечно, нет телефона, ничего не поделаешь...

Лицо у нее было успокоенное, она верила каждому его слову.

И папа, как бы вдохновленный этой безусловной верой, наворачивал все новые подробности: детально описывал квартиру начальника, цвет обоев, мебель, расположение окон, потом рассказал, какие гости сидели за столом, попутно описал, что за блюда подавались...

Все это время Степа упорно молчала, только раз глянула на папу исподлобья и тут же отвела глаза в сторону.

«Все одно я его выслежу»,—решила Степа. И выследила. Поначалу Степа долго думала, прежде чем открыть маме глаза. И все-таки решилась, сказала... Может быть, дело еще не зашло далеко, мама устроит основательный скандал, все разом прервется, и будут мама с папой продолжать жить дальше.

«Она» была студенткой того института, в котором преподавал папа. Родители ее жили в Смоленске, а она жила в общежитии и заканчивала институт. И еще она оказалась беременной, должна родить летом.

— Так-то,—закончила Степа свой рассказ и помолчала, как бы утверждая его весомость.—А теперь, милушка, решай и действуй, что дальше делать будешь...

Рисунок Валерия КАРАСЕВА



— Чего ж тут решать...—ответила мама.

Я была слишком мала, ненаблюдательна и не знаю, как мама отнеслась к тому, что рассказала Степа. Степа утверждала, что по маминому виду ничего нельзя было определить.

— Она у нас издавна такая,—сказала Степа.—Все в себе копит, никогда на людях ни одной самой малой малости не выдаст...

Степа не знала, не слышала, что за разговор случился между мамой и папой. Они были в одной комнате, Степа в другой, говорили между собой тихо, чуть ли не шепотом, может быть, для того, чтобы не услышала Степа и не вздумала по своему неистовому характеру вмешаться, но позднее, Степа видела, папа торопливо вышел из дома, на ходу натягивая пальто, и лицо его было печальным, глаза красные, словно он плакал.

У мамы тоже были красные глаза, но, когда Степа спросила ее напрямик, как же теперь будет, мама сказала:

— Так, как и должно быть.

Степа сказала:

— Что-то ты, как я погляжу, не шибко скандалила, а надо бы, уж до того надо бы!

Мама поглядела на нее, ничего не ответила.

Когда я стала старше, мама рассказала мне о том, что произошло между нею и папой.

— Я сказала, что считаю: ему следует уйти к матери своего будущего ребенка.

— А он хотел уйти?—спросила я.

— Он сам не знал, что ему делать. И с нею хотел быть и от нас с тобой не хотел уходить, все вместе...

Она помолчала немного, добавила:

— Он так мучился, что мне стало жаль его...

Я спросила:

— Как же ты так говоришь, что он должен уйти к матери своего будущего ребенка? Ты же тоже мать его ребенка!

— Да, верно. Но ты уже была большой ребенок, в тот год пошла в школу, а это был младенец, которому нужен отец, ведь она, вторая папина жена, была такая еще молодая...

Я слушала маму, дивилась про себя. Неужели ей не было больно, неужели она не страдала, не мучилась, не плакала день и ночь, ведь сама, по своей воле уступила той, чужой, никогда не знаемой ею, своего самого любимого, единственного в жизни мужчину...

— Ты какая-то чудная,—сказала я тогда маме.—Дон-Кихот тебе кланялся...

— Разве?—удивилась мама.—Твоя Степа обозвала меня еще того чище—просто душой...

Степа и в самом деле долго не могла простить маме ее поступок.

— Своими руками взяла и отдала мужика в чужое владение, ни о чем не подумала, ни на что не поглядела...

С той поры папа уже не жил с нами. Его новая жена уехала в Смоленск, к родителям, и он перевелся туда работать. Там родился его сын, Валерик.

Все эти годы он переписывался с мамой, иногда приезжал в Москву, каждый раз останавливаясь у нас, в Лосинке.

И все было совсем так, словно он никогда не покидал нас. Только папа, когда останавливался, жил один, в маминой комнате, а мы трое—мама, я и Степа—помещались в другой. Иногда папа жаловался: у его новой жены был трудный, неуступчивый характер, они часто ссорились, случалось, неделями не разговаривали друг с другом, но мама каждый раз, не дослушав, обрывала его:

— Перестань, как тебе не совестно? Она же молодая, много моложе тебя, и ты должен первый идти навстречу...

— Значит, уступать во всем ей должен?—язвительно спрашивал папа.

— Конечно,—спокойно парировала мама.—Уступает тот, кто умнее и сильнее.

По-моему, папа одно время всерьез задумал вернуться к нам обратно. Но мама отрезала раз и навсегда:

— Нет уж, мертвых обратно не носят...

И только лишь в этих, необычно резких для мамы словах сказались горькая ее обида, непроходящая боль, которую она постоянно скрывала от всех...

Маме понравился Валерик. И мне понравился. Правда, поначалу он показался нам излишне застенчивым, молчаливым, но, как оно часто случается, первое впечатление оказалось обманчивым.

Понемногу Валерик осмелел, огляделся в нашем доме, привык ко мне и к маме и начал засыпать нас вопросами. Он упорно добывался у меня:

— Что лучше—быть злым или добрым?

— Наверно, добрым,—отвечала я.

— А вот Минька говорит, что злым быть выгодно,—говорил Валерик.

Минька был его первый друг; они жили в Смоленске в одном доме, ходили в один и тот же детский сад, теперь собирались вместе поступить в школу, в первый класс, и, как уверял папа, должно быть, на все десять лет усядутся за одну парту.

Минька был непререкаемым авторитетом для Валерика.

— Минька сказал... А вот Минька считает...—так и сыпалось у него изо рта.

Валерик был добрый, нежадный, всегда готовый поделиться всем, что только у него имелось: игрушками, книжками, сладостями.

— Возьми, мне не нужно,—часто говорил он. Этим он пошел в нашего папу. Папа тоже был необыкновенно щедрый, широкий, начисто лишенный какого бы то ни было накопительства. Ему никогда ничего не было жалко, он ничем не дорожил, и, может быть, именно это свойство так далеко и завело его...

Валерик любил слушать, о чем говорят взрослые, а порой и сам вмешивался в разговор. Папа как-то резко оборвал его:

— Ты зачем слушаешь, о чем мы говорим?

— Да я не хочу слушать, само как-то слушается,—признался Валерик.

Мама засмеялась, за ней засмеялся папа.

Валерик полюбил мою маму и ко мне относился хорошо, единственной, кого он боялся, была Степа. Он весь замирал, стоило Степе войти в комнату. И она явно невзлюбила его, никогда не говорила с ним, лишь изредка следила за мальчиком по-недоброму внимательным взглядом.

Мама пробовала увещевать ее:

— Поймите, тетя Варя, ребенок же ни в чем не виноват...

— Ты мне, милая моя, лазаря не пой,—отвечала Степа.—Как я порешила, так и будет.

— Что же вы порешили?—спрашивала мама.

— Это мое дело,—отвечала Степа и выходила из комнаты, чтобы закончить разговор.

Папа же по своему обыкновению ничего не замечал и однажды летом привез к нам Валерика, потому что собрался с женой на юг.

Это было года за два до войны. У меня в школе начались каникулы, и я уходила с Валериком в лес, или мы садились с ним в поезд и ехали до Болшева, а там шли на речку, и я учила Валерика плавать.

Он сильно загорел, вырос, я бы сказала, даже возмужал, но по-прежнему любил задавать всевозможные вопросы, от которых иной раз я терялась, не зная, что ответить.

— Почему говорят «окружающая среда», а не говорят «окружающий вторник» или «окружающий четверг»?

— Почему у всех людей глаза разного цвета?

— Почему говорят «подложить свинью»? Неужели и вправду некоторые люди подкладывают под кого-то свинью? А как они это делают?

— Почему летом идет дождь, а зимой снег? Почему не наоборот?

Я боялась, что он спросит: «Почему мой папа живет не с вами, а с нами?»

Но он ни разу не спросил. И я была рада, потому что не знала, что ему ответить.

В то лето Валерик еще больше привязался ко мне, то и дело дарил мне или рогатку, или шарик, или яблоко, любил ходить рядом со мной, держа меня за руку, и подолгу рассказывать о своем закадычном друге Миньке, каждый раз предупреждая:

— Только смотри никому ни слова, это секрет!

Хотя весь секрет заключался в том, что Минька как-то списал у Валерика диктант, а сам не дал списать решения задачи или что Минька на катке нарочно толкнул его и поскорее убежал подальше... По-моему, Минька был порядочной дрянью, но Валерик так любил его, что я не могла заставить себя хотя бы мимоходом очернить Миньку в его глазах. Как и всякое подлинное, лишнее какой бы то ни было корысти чувство, любовь Валерика к Миньке была непогрешимо слепой, он не видел и не желал видеть в Миньке решительно ничего дурного. Однажды Валерик признался мне, что пишет стихи.

— Только это секрет,—предупредил он меня.

— Даже от Миньки секрет?—спросила я, вдруг ловя себя на том, что ревную Валерика к этому самому лукавому пройдохе Миньке.

— Нет, Минька знает,—признался Валерик.—У меня от него нет секретов.

— Еще бы!—иронически соглашалась я. Но Валерик не понял моей иронии.

— Ну, слушай, вот мои стихи.

И начал:

*Мы с товарищем вдвоем
Очень весело живем,
Пусть он старше, ну так что ж?
Нас водой не разольешь!*

— Все?—спросила я.

— А что, разве мало?—удивился Валерик.—Это я о Миньке.

— Дался тебе твой Минька. Даже стихи ему посвящаешь!

— Ну и что с того?

— Ничего, это я просто так. А он старше тебя?

— На два месяца и шесть дней.

— Слушай,—сказала я.—А ты плагиатор.

— Чего?—не понял Валерик.

— Плагиатор, литературный вор.

— Как так вор?

— Это же не твои стихи.

— Нет, мои!—закричал Валерик.

Я молча подошла к книжной полке, разыскала в гряде книжек сборник Михалкова и раскрыла его на нужной странице.

— Читай,—сказала я.—Вслух.

Он послушно прочитал.

— Что скажешь?

— Ничего.

— Тогда я скажу: ты видишь, почти слово в слово списано у Михалкова.

— Неправда, у меня другие слова.

Мне пришлось потратить не один час, чтобы подробно пояснить Валерика, что такое плагиат и как часто бывает, что люди иной раз бессознательно подражают тому или иному известному писателю.

В конце концов он согласился со мной и клятвенно обещал больше никогда не плагиатствовать. Ни за что на свете!

А спустя два дня снова прочитал свои новые стихи, которые начинались так:

*Однажды в холодную зимнюю пору
Я вышел гулять, был ужасный мороз,
Вдруг вижу, как медленно тащится в гору
Самый грозный старик, наш русский мороз!*

Крупные глаза Валерика торжественно глядели на меня.

— Что теперь скажешь? Это я совсем один сочинил, нигде не смотрел, ни у кого не вычитал!

— А Некрасов?—спросила я.—Николай Алексеевич Некрасов? Великий русский поэт? Кажется, вы уже проходили его в школе?

Валерик быстро, сердито покраснел.

— Проходили. Только у Некрасова все совсем по-другому, там же о мальчишке, который тащит воз из леса, а я о морозе.

Я ничего не ответила, лишь молча смотрела на него.

— Хорошо,—сказал он.—Я переделаю.

— Не надо переделывать, лучше пиши что-нибудь свое.

— Так я же писал свое.

— Нет, это не твои стихи, а совершенно чужие.

— Чем чужие?

— Всем. Все это не твоё, ни одного слова твоего нет!

Он помедлил немного, потом взял листок со стихами и порвал его на мелкие кусочки.

Степа не изменила своего отношения, по-прежнему была безразлична, отрешенно смотрела мимо него, в сторону, когда звала обедать, или вечером, заставляя вымыть перед сном ноги. И Валерик платил ей тем же: не говорил с ней, не глядел на нее, молча выполнял все то, что она велела.

Зато его полюбил наш сосед Василий Васильевич, и Валерик был к нему искренне привязан. По целым часам Валерик сиживал в комнате старика и, когда я спрашивала, о чем они беседуют, отвечал:

— О разном. О чем хочешь...

— Все-таки о чем же?

— О том, как он был маленький...

— Почему же он мне никогда не расскажет, как он был маленький?—удивлялась я.

Валерик усмехался не без гордости.

— Наверно, ты не умеешь так слушать, как я.

Должно быть, он был по-своему прав. Старик и в самом деле преображался, стоило Валерику появиться в нашем доме. Как-то я услышала, как он поет.

— Наско было влюбляться, наско было гореть...—тоненько выводил его не лишенный приятности старческий тенор.

А Валерик слушал внимательно, потом спрашивал:

— Что такое «нассо»?

Старик не знал, что ответить. Тогда Валерик, от природы необыкновенно дотошный, спросил о том же самом меня и маму, но так и не сумел выяснить значения этого загадочного слова...

Прошел месяц, папа приехал за Валериком. Он загорел, похудел, глаза казались особенно светлыми, какими обычно кажутся серые глаза на загорелом лице.

— Хорошо отдохнул?—спросила мама.

— Ничего,—ответил он и тут же заговорил о чем-то другом.

Степа ни о чем не спросила, только бегло глянула на него, усмехнулась сухими, в сборочку губами. Вскоре она ушла в магазин, Валерик помчался с Василием Васильевичем в кино, а я легла с книжкой на диване и незаметно задремала.

Еще во сне я услышала голос папы. Он говорил что-то, я не могла разобрать что, но мне вдруг

показалось—он плачет. Я широко раскрыла глаза, это была давняя детская привычка: когда снилось что-то страшное или печальное, широко раскрыть глаза, тогда непременно проснешься... Я и в самом деле проснулась. Нет, папин голос мне не приснился. Он продолжал говорить с нарастающей силой:

— Пойми, я топил дровами улицу, я все тепло отдал улице, а мой дом оставался холодным...

Мама молчала.

— Почему же ты молчишь?—спросил папа.

— Мне нечего сказать тебе,—ответила мама.

— Почему нечего? Неужели нет у тебя для меня хотя бы одного слова?

— Не надо, Алеша,—сказала мама.—Прошу тебя, не надо.

— Нет, надо,—почти закричал папа.—Я же тебе говорю, сил моих больше нет...

— Поздно.—Мама встала, подошла к стене, щелкнула выключателем.

Вспыхнула над столом лампа в оранжевом шелковом абажуре с висюльками. Я широко зевнула, словно только-только проснулась.

Мама вдруг обрадовалась, что я не сплю, села ко мне на диван, провела легкой ладонью по моей щеке.

— Выспалась? А ночью что будешь делать?

Я прижалась щекой к ее руке, к этой милой впадинке возле запястья. Страстное, неизъяснимое чувство любви к маме, нежности и жалости к ней вдруг охватило меня. Слезы помимо моей воли покатались из моих глаз, я старалась побороть их, а они, словно назло, лились все сильнее, все обильнее, я крепко сжимала мамину руку, а она негромко, испуганно спрашивала:

— Что ты, Катя? Что с тобой?

Я не отвечала ей и плакала все сильнее, все горше...

В конце зимы сорок третьего года однажды вечером сидели мы вместе со Степой на кухне, не зажигая света. Теперь мы жили с ней на кухне, там же и спали, там и ели, потому что дров на остальные две комнаты у нас не было. Василий Васильевич держал свою дверь постоянно открытой, чтобы тепло из кухни хотя бы немного достигало и его комнаты. Степа вязала, она приучила себя вязать в темноте, на ощупь, а я думала о том, что примерно через час мы с ней будем ужинать—картошкой с солеными огурцами и молочным суфле. Картошка была наша собственная. Степа вместе со мной сажала ее весной возле дома, на нашем участке, а суфле привезла мама, она теперь работала в редакции военной газеты, была на казарменном положении, и ей редко-редко удавалось вырваться, приехать навестить нас.

И вот я ждала ужин, предвкушая, как Степа поставит на стол рассыпанную картошку в голубой тарелке, нарезанные дольками ломтиками соленые огурчики и тяжелый, пряно пахнущий ломоть черного хлеба. Рот мой наполнился слюной. Я теперь часто и помногу думала о еде, хотя никогда раньше не была обжорой. В книгах я перечитывала те места, где описывалось что-либо съестное, а от слов «ветчина», «пирог», «пирожное», «крем» у меня вспыхивал прямо-таки волчий аппетит, и подчас я никак не могла утолить его.

— Придет Василий Васильевич, будем ужинать,—сказала Степа, словно бы угадав мои мысли.

С первых дней войны Василий Васильевич снова пошел работать, только уже не водил поезда, а работал в депо, обучал новичков, которым предстояло в пожарном порядке стать машинистами. Он получал рабочую карточку и сам первый предложил Степе жить одним коштом, общим котлом.

— Две рабочих и одна служащая—жить можно,—заклучил Василий Васильевич.

Я работала санитаркой в госпитале в Болшеве и тоже получала рабочую карточку, иной раз мама подбрасывала нам то сахар, то концентраты, то этого самого, очень любимого мною и Степой молочного суфле, походившего на растаявшее мороженое.

Василий Васильевич приходил поздно, иногда уже тогда, когда Степа спала и я вместе с ней, если не была на дежурстве в госпитале. Но когда бы он ни пришел, всегда на столе ждал его ужин, и утром Степа вставала пораньше, чтобы приготовить ему завтрак. Придирчивая честность ее никогда бы не позволила ей взять что-то чужое, пусть даже и охотно подаренное, и не отплатить сторицей так, как полагается.

По-моему, с той поры, как Василий Васильевич снова начал работать, он сильно переменился, стал очень важным и депо называл не иначе, как «объект».

— Я пошел на объект,—говорил.—Завтра скорей всего останусь ночевать на объекте.

Он уже не брал книг в библиотеке, не было времени читать, не пел своих песен, а в редкие свободные часы, когда бывал дома, заваливался спать и храпел так, что, кажется, на станции было слышно.

...Наконец Степа отложила вязанье, зажгла керосиновую лампу—мы уже несколько дней подряд сидели с керосиновой лампой, в поселке с начала войны часто бывали перебои с электричеством—и сняла кипящий чайник с плиты.

Ледяная крупа ударила в окно. Степа покачала головой.

— Ветер до чего злится...

Я зевнула. Грело сознание, что я под крышей, в тепле, и буду ночевать дома до утра, и сейчас не надо пробираться сквозь выюгу и ветер к станции, на поезд до Болшева.

Степа приоткрыла дверцу печки, веселое пламя осветило ее лицо. Я будто впервые увидела, как же она дохнула! Глубокие морщины прорезались на лбу, глаза впали, и обтянутые скулы казались желтыми, восковыми...

Я знала: Степа часто не спит ночами, все думает о сыне. Осенью сорок первого он эвакуировался вместе со своим заводом. Перед этим и он и невестка приходили к нам уговаривать Степу ехать с ними: Степиной внучке было девять лет, и в семье у них ожидалось еще прибавление.

Степа сказала мне:

— Будто не знаю, зачем я им понадобилась? Без няньки в такое вот время не обойтись, а где ее возьмешь, няньку-то? А ежели даже и найдешь, как прокормишь?

Сколько сын и невестка ни уговаривали Степу, сколько ни прибегала к нам внучка, рано вытянувшаяся, с умилым лицом школьной фискалки,— Степа не согласилась уехать с ними. Должно быть, она взвесила на каких-то одной ей ведомых весах, кто ей дороже—мы с мамой или сын с его семьей. Мы перевесили.

Но я знала, Степа не переставала думать о сыне, о внучке, беспокоиться о них, случалось, даже плакала, не скрываясь, потому что шел уже к концу второй год и от сына за все время она получила только лишь одну, торопливо написанную открытку с дороги.

— Обиделись,—успокаивала я Степу.—Не могут тебе простить, что осталась с нами...

Но сама я не раз думала: вдруг и в самом деле что-то случилось, или эшелон, в котором они ехали на Урал, разбомбило, или все они заболели и умерли дорогой, или еще что-то нехорошее.

Степа обнадеживающе заремела тарелками и вилками, собирая на стол.

— Как думаешь, мама когда приедет?—спросила я.

— Кто же ее знает...—ответила Степа.

Нарезая хлеб, сказала:

— Мне вчерашний день Алексей снился...

— В каком виде?—спросила я.

— В обыкновенном,—сказала Степа.

— А мне папа еще ни разу не снился,—сказала я.

Наверно, Степа хотела промолчать, но не сдержалась:

— Потому, наверно, много о тебе думаю...

— Но он, может быть, и о тебе не думает,—резонно возразила я,—а ты его во сне все-таки

видела.

Моя логика победила ее иронию. И она сравнительно миролюбиво сказала:

— Давай садись ужинать...

Послышался стук в окно.

— Ну и ветер,—сказала Степа.—Так и чешет, будь он неладен...

Я прислушалась. Стук повторился, но уже чуть слабее.

— Это не ветер,—сказала я.

Снова послышался стук.

— Это же в дверь стучат!—воскликнула я.

— Наверно, Василий Васильевич, хотя вроде бы нынче на ночь хотел в своем деле остаться,—задумчиво проговорила Степа.

Она вышла в сени, откуда сразу же резко пахнуло холодом, раскрыла входную дверь.

И тут же раздался ее голос:

— Батюшки, да что же это такое?

Я вскочила из-за стола. Степа вела за руку кого-то, закутанного по самые глаза рваным платком.

— Кто это?—спросила я, но, уже предчувствуя, зная ответ, ринулась к нему, закутанному в платок, сильно замерзшему, как бы излучавшему холод...

Да, это был Валерик, мой брат.

Не помню, сколько времени я стояла, крепко прижимая его к себе, с болью ощущая, как мало его в моих руках...

Он не плакал, и я тоже старалась сдержаться, не плакать.

Степа молча, ошеломленно глядела на него. Потом, спохватившись, широко раскрывала дверцу печки.

— Сядь вот сюда, грейся...

Между тем я размотала платок, сбросила с его головы рваную шапку, слишком большую для него. Он сел на табуретку, протянул к печке руки, худые, не детские длинные пальцы. Он еще больше похудел, вытянулся, чуть скуластое лицо его стало костлявым, и, может быть, потому уши казались особенно оттопыренными и большими.

— Ты откуда?—спросила я.—Неужели из Смоленска?

Он кивнул. Должно быть, ему еще трудно было говорить растущими с мороза губами. Потом все же сказал:

— Папа ушел на фронт, а мама умерла...

— Почему умерла?—спросила я.

— Не знаю. Во сне умерла.

— Стало быть, сердце,—авторитетно изрекла Степа.—От сердца часто во сне умирают.

— Как же ты один жил?—спросила я.

— Я с соседями нашими жил, они рядом там были...

— Это что, у Миньки твоего, что ли?

— Да, у Миньки, а после немцы Минькиного папу забрали, и мама его говорит: «Нам и без того жрать нечего, иди куда хочешь...»

Валерик глянул на рваную шапку, которая валялась на полу.

— Шапку вот мне дала, а платок я сам взял...

— Ну, а Минька твой что же? Так тебя и пустил уйти?

Валерик не сразу ответил.

— Минька тоже сказал: «Мы втроем не продержимся...»

Я хотела было сказать: «Недаром мне твой Минька за глаза никогда не нравился...» Но пожалела Валерика, ничего не сказала. И вообще к чему ему сейчас какие бы то ни было слова и упреки...

— Долго шел к нам?—спросила Степа.

— Дней десять или двадцать, не знаю...

— Как так не знаешь?—удивилась Степа.

— Счет потерял. В одной деревне я целых три дня жил у какой-то старушки, потом опять шел, свалился, не помню, сколько лежал, день или час, и опять пошел...

Он оборвал себя. Глаза его загорелись, я проследила за его взглядом, он жадно, пристально смотрел на стол, на котором лежал хлеб, нарезанный Степой, и в миске белела картошка.

— Хочешь кушать?—спросила я.

Но тут вмешалась Степа.

— Нет уж, сперва надо как следует вымыться с дороги, а потом уже за стол садиться. Валерик глянул на нее, и я поняла: он по-прежнему робует.

Но Степа словно ничего не замечала.

— У меня в печке чугунок с горячей водой,—сказала.—Сейчас еще кастрюлю на керосинку поставлю, чтобы поскорее нагрелась...

— Где корыто?—спросила я.

— Ты что, тоже только что в дом вошла?—удивилась Степа.—Будто не знаешь, корыто на своем месте, в сенях...

Я принесла корыто. Степа закрыла дверь на крючок.

— А то вдруг Василий Васильевич придет и холода напугит...

— Он жив?—спросил Валерик.

— Кто? Василий Васильевич? Конечно, жив.

Слабая улыбка, вернее, подобие улыбки мелькнуло в глазах Валерика. Он тихо промолвил, почти прошептал:

— Наско было влюбляться...

— Вот именно,—подтвердила Степа.—А ну, давай скидывай ковбойку.

Он тряхнул сильно отросшими волосами.

— Штаны тоже снять?

— А как же?—сказала Степа.—Ну, быстрее, вода стынет...

Он зябко поежился. Керосиновая лампа четко осветила его костлявое тело, худые плечи, длинные палочки-руки. От прошлого остались только лишь темные ресницы, от которых светлые глаза его тоже казались темными.

Он сел в корыто, и Степа беспощадно обрушила на него поток горячей воды, немного разбавленной холодной. Валерик тихо охнул.

— Ничего,—сурово сказала Степа.—Я на тебя еще не одну воду вылью...

— Хорошо,—покорно сказал Валерик.

Степа обернулась ко мне:

— Принеси мыло...

— Какое?—спросила я.

— То самое.

Вот уж чего я никак не ожидала! У нас с давнего времени сохранились два куска хозяйственного мыла, того, довоенного, мраморного, в прелестных синих узорах. Мы с мамой только поглядывали на это мыло и облизывались—Степа не разрешала трогать его.

— Придет время, не пожалею,—говорила.—А покамест не дам, и не просите...

Значит, пришло время, и она не пожалела.

Я дала ей кусок мыла, который хранился в укромном месте, за печкой, в ящике из-под ваксы. Степа решительно намылила жесткую, уже порядком разлохмаченную мочалку. Скомандовала:

— Ну, голову ниже, подставляй спину...

Валерик с готовностью опустил голову.

— А вы с ним похожие,—сказала Степа.

— Вот уж нет,—сказала я.

— Похожие,—повторила Степа.—Не лицом, с лица он вроде бы покрасивше тебя будет, а вот головой, что ли, оба одинаково голову держите, и плечо, что у него, что у тебя, левое выше правого, и даже родинки у вас одинаковые, возле уха, надо же так!

С чувством, не жалея сил, растерла мочалкой спину Валерика, добавила:

— А чего же такого в том удивительного? Как ни говори, брат и сестра...

Почта «Смены»

ДАЛЕКОЕ—БЛИЗКОЕ, «К ЗВЕЗДАМ».
«Смена» № 17, 1975

Приятный сюрприз преподнесла нам «Смена», опубликовав материалы о нашем замечательном калужанине и друге К. Э. Циолковского—Александре Леонидовиче Чижевском.

И сама статья «Тетрадь для Циолковского», и стихи, и живописные работы, и яркая вступительная статья Леонида Голованова дали, как мне думается, прекрасное представление о феноменальной личности А. Л. Чижевского и о его тесных научных связях с великим русским ученым К. Э. Циолковским.

Спасибо большое редакции от семьи Циолковских и коллектива мемориального музея!

А. КОСТИН, внук К. Э. Циолковского,
заведующий Домом-музеем ученого,
заслуженный работник культуры РСФСР.

В 17-м номере вашего журнала я прочитал интересную подборку, посвященную замечательному советскому ученому, одному из пионеров космического естествознания, проф. А. Л. Чижевскому. Читаешь и думаешь: как же мало мы знаем своих соотечественников! Передайте, пожалуйста, тем, кто подготовил эту подборку, признательность мою и моих друзей. Впечатляет публикация неизвестной статьи ученого, неизгладимый след оставляют стихи и живописные работы. Не устраивает ли ваша редакция художественных выставок? Полезно было бы это сделать или предложить какому-либо из выставочных залов Москвы. Очень хорошие слова написаны об ученом в предисловии кандидата философских наук Л. Голованова: живо представляешь человека, проникаешься симпатией к нему.

Побольше подобных подборок!

С уважением, Ю. АБРАМОВ,
доцент МВТУ имени Баумана,
кандидат экономических наук.

Лично Чижевского я не знал, но о нем слышал и, к сожалению, почти ничего о нем не читал.

Публикация на страницах вашего журнала подтолкнула мое стремление больше узнать о жизни и деятельности этого замечательного человека. Очень жаль, что у нас в стране о нем все-таки мало пишут. А ведь таких патриотов

своей Родины, как Чижевский, забывать не следует. Еще раз спасибо за радость, что бы мне доставили.

А. НАЗАРОВ,
г. Москва.

Уважаемая редакция!

Прочитал подборку материалов «К звездам», посвященную А. Л. Чижевскому. Поместив материалы об этом необыкновенном человеке, редакция сделала большое и нужное дело. А. Л. Чижевский заслуживает того, чтобы его знали в стране, в которой он родился, жил и работал.

В. ПРИЩЕПА, инженер,
г. Химки Московской области.

Борис ДУБРОВИН. Стихи.
«Смена» № 24, 1975

Дорогой Борис Дубровин!

Прочитала Ваши новые стихи. Спасибо за встречу с настоящей поэзией! Я не в первый раз читаю Ваши произведения. Сборники брала в библиотеках, читала их даже переписанными в дневниках у людей, которых я уважаю. Но купить любимую книгу стихов, чтобы она всегда была под рукой,—это почти невозможно в нашем городе.

Ваши стихи заставляют по-настоящему волноваться, сопереживать Вам, автору, и поднимать до чувств и раздумий самого поэта. Я не могу сказать, что отношу себя к знатокам поэзии: творчество Маяковского, например, я не понимаю. Может быть, и пойму когда-нибудь, не все сразу приходит. А в поэзии Есенина, несмотря на то, что она заставляет задуматься, есть для меня что-то непривлекательное, что трудно пока объяснить. Мой постоянно любимый поэт—Лермонтов: в нем есть то, что созвучно лично мне, моим чувствам. Лишь в последнее время, уже после школы, где мы «проходили» классиков, заучивая наизусть по одному стихотворению, я, кажется, по-настоящему стала понимать поэзию (хотя и не всю). Может быть, я слишком по-своему и не совсем верно воспринимаю прочитанное, но, главное, меня тянет к себе поэзия, ведь никто не заставляет меня читать и учить стихи! Жаль, что мои друзья—а их у меня много, и это хорошие люди,—жаль, что они не понимают моих чувств. Они смеются над оперой, над Бетховеном и Бахом, Пушкиным и Лермонтовым. А ведь из-за нехватки духов-

ной пищи человек грубеет, скудеет, развращается. Наверное, из-за этого по улицам города вечерами бродят подвыпившие парни, ругаются и дерутся... Не хочу я, чтобы люди так жили, хочу, чтобы они жили добром, красотой!

Лилия МАЛЬКОВА,
студентка строительного техникума, г. Йошкар-Ола.

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ. «КОМУНИСТ».
«Смена» № 2, 1976

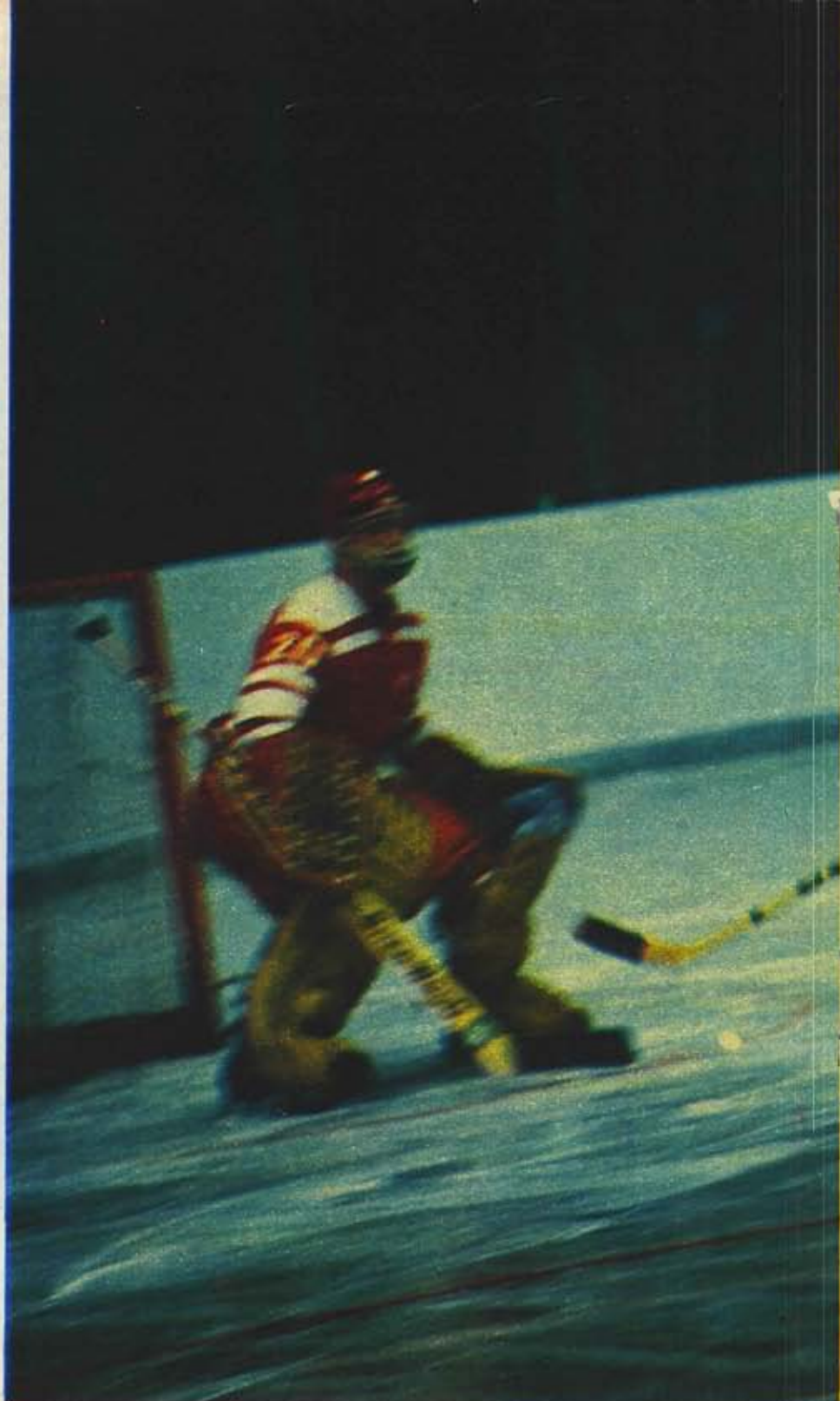
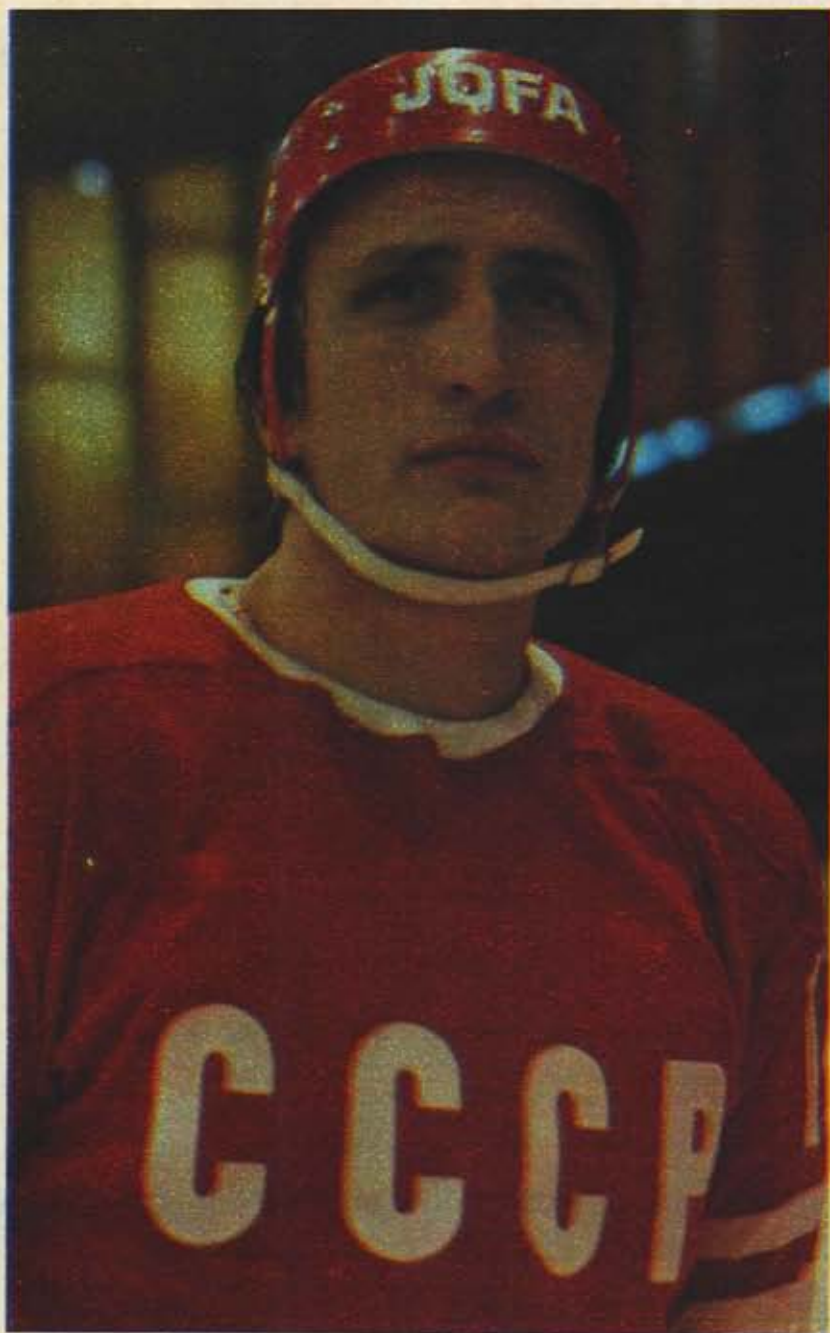
Здравствуйтесь, дорогая редакция! Я человек «технического склада» и к литературе отношение имею лишь как читатель и книголюб. Мне 25 лет, я рабочий. По духу своему, по молодости души выписываю журнал «Смена».

На страницах журнала всегда можно найти много интересного. Уже с первых номеров нового года журнал освежился творческими задумками. Хочу сказать о «ЖЗЛ»: собственно, ради этого раздела я и пишу вам столь «замысловатое» письмо.

Это очень интересный раздел, и я думаю, он получит горячее одобрение читателей. Мало мы читаем литературы о славных людях, и эта рубрика к стати. Надеюсь, что она прибавит вам читателей. И хорошо, что начали ее с «хлебного батки», академика Лукьяненко. Ведь хлеб—это наша жизнь. И еще вот какая у меня просьба. Если можно, то материалы «ЖЗЛ» завершайте так, чтоб можно было вырезать их в виде книжки, по страницам. Со временем они составят хорошую домашнюю библиотеку.

С уважением Вл. БЕРДОВ,
г. Омск.

РЕДАКЦИЯ ждет от читателей писем-предложений, писем-заявок для нового раздела «Жизнь замечательных людей». О ком из людей замечательных, ярких, совершающих подвиги во славу Родины, вы хотели бы прочитать на страницах «Смены»? Героями очерков могут быть люди, живущие рядом с нами, наши современники; рабочие, борющиеся на производстве за успехи в труде, или ученые, открывающие новые законы природы и человеческого общества. Это могут быть герои, отдавшие свою жизнь в боях за Отчизну. Какого героя и какого автора вы можете предложить для очерка?



Чемпионы о себе

«Хочу прочитать в «Смене» о Якушеве, популярнейшем советском спортсмене. А еще лучше будет, если он напишет сам...» — так начиналось одно из писем, полученных нами недавно. Выполняя пожелание читателя из Риги, редакция обратилась к хоккеисту московского «Спартака» и сборной СССР Александру Якушеву с просьбой рассказать на страницах журнала о себе, поделиться планами на будущее, мыслями о том, что больше всего волнует его в нынешнем олимпийском году.

Так родилась новая рубрика «Смены» — «Чемпионы о себе». А вести ее дальше мы собираемся с помощью читателей — по вашим заявкам. Кого из выдающихся советских спортсменов вы хотели бы видеть в качестве авторов журнала? Спортсмен, на выступление которого мы получим наибольшее число заявок, будет выступать в следующий раз. Ждем ваших писем с пометкой на конверте: «Чемпионы о себе».

Александр ЯКУШЕВ,
заслуженный мастер спорта.

Фото Юрия СОКОЛОВА.

Я — СПА

Если бы все начать сначала... Эти слова не раз и не два в жизни произносит, наверное, каждый человек. И говорит себе, что если бы все началось сначала, а сам он был бы вооружен своим сегодняшним опытом, то, уж конечно, постарался бы стать умнее, смелее, дальновиднее, каких-то ошибок избежал бы, что-то в своем жизненном пути изменил.

Только сначала — нельзя.

Ну, а если бы можно? Тогда я тоже многое повернул бы иначе. Но один свой шаг я повторил бы обязательно, что бы ни случилось и какой бы выбор мне ни предоставлялся. В положенный срок я снова переступил бы порог деревянного домика на Ширяевом поле в Сокольниках и снова спросил бы, здесь ли записывают желающих играть в футбол и хоккей в

детской команде «Спартак». И потом я еще раз повторил бы себя, тогдашнего: когда пришла бы пора сделать окончательный выбор между футболом и хоккеем, я снова выбрал бы хоккей. Какие бы перспективы ни открывало передо мною будущее, я опять сделал бы хоккей делом своей жизни.

Видимо, я должен быть отнесен к категории людей счастливых. Потому что главное в нашей жизни — дело, которому ты служишь. И как бы ни везло тебе во всем остальном, если ты безразличен к делу, которому отдано все время и все мысли, если для тебя есть вещи поважней твоего дела и ты готов его на эти вещи променять, ты несчастный человек. Твоя жизнь пуста, в ней куда больше дней серых и унылых, чем радостных. Да и радости все больше вызваны поводами второстепенными.



РТАКОВЕЩ

Ну, а в чем же она, если можно так выразиться, суть счастья? В том, что ты на виду? Что тебя узнают в лицо на улице? Что хоккей позволяет тебе увидеть мир?

В этом тоже. Но я думаю не о славе, когда говорю, что выпал мне счастливый жребий. Есть для меня в хоккее нечто куда более ценное и не сравнимое ни с чем. Боюсь только, что в пересказе оно, это нечто, будет выглядеть слишком приблизительно. Его надо пережить самому, чтобы почувствовать и понять до конца.

Я жду его всегда и всегда надеюсь, что свидание состоится. А приходит оно всякий раз неожиданно, и миг его начала неуловим. Я мчусь по льду, и шайба на кончике моей клюшки. И нет ничего, кроме игры. И сама она, игра, и ее ритм, и шайба, и мое тело покорны моей воле. В этот миг я ощущаю себя не просто

сильным, я всемогущ, неудержим, и нет для меня в мире ничего невозможного.

«Остановись, мгновение, ты прекрасно!» — У каждого эти слова вызывают свои ассоциации, каждый живет ради своего мгновения. Я тоже. Оно уходит так же неожиданно и незаметно, как пришло. Но я знаю: оно возвратится снова. Только вот вопрос: неужто мне остается ждать, когда оно снизойдет ко мне с заоблачных высот? Хорошо, если бы так. Только я уже не мальчик и знаю: так не бывает.

«Озарение», «вдохновение», «счастье» — все эти романтические понятия покоятся на более чем прозаической основе и посещают лишь тех, кто прочно стоит на земле.

...Мы собираемся все вместе в начале июля. До первых игр далеко. Шайбы, клюшки, коньки, баулы с амуницией еще долго будут покоиться на складе. Мы

на время забыли о хоккее. Пока мы штангисты, акробаты, бегуны, пловцы, баскетболисты. Мы меряем километры по газонам московских парков, таскаем «железо», делаем бесчисленные кульбиты на гимнастических матах. Потом, в душевой, сбрасываем с себя потяжелевшие от пота тренировочные костюмы и долго стоим под прохладными струями, снимая свинцовый груз усталости. Завтра все повторится снова, с той лишь разницей, что длиннее станет дистанция кросса, тяжелее штанга и прибавится число кульбитов.

Лето катится к зениту, солнце палит все сильнее. А мы уезжаем из Москвы в Алушту. Там пляж. Там разноцветная толпа отдыхающих. Там отовсюду выплескиваются на волю веселые мелодии, а стены пестрят афишами, приглашающими на экскурсии, концерты, на танцевальные вечера. По курортному городу разлита отнюдь не деловая атмосфера. И вот тут, у моря, мы проводим три недели. А самым старшим из нас едва перевалило за тридцать. И далеко не все женаты. И нас манит это черноморское величие...

Утром, еще до завтрака, мы бежим к морю. Нет, не в море, а к морю, вниз, с горы. А затем обратно, в гору. И выбираем подъемы покруче. И скачем вверх, пересчитывая сотни ступенек всех алуштинских лестниц. А когда солнце поднимется повыше, мы станем кидать в волны камни. Не ту плоскую гальку, что, пущенная умелой рукой, отскакивает от воды, оставляя за собой пенные фонтанчики, а самые настоящие валуны, тяжелые, неуклюжие, не желающие отрываться от земли.

Вся Алушта погрузится в послеобеденный сон, затем начнет прихорашиваться в предвкушении вечерних развлечений. А нас ждет футбольное поле, или баскетбольная площадка, или очередной кросс. А когда танцы и ресторанное застолье достигнут апогея, мы уже будем видеть десятые сны: завтра ведь все повторится снова...

Каждый из нас любит хоккей, иначе он избрал бы себе какое-нибудь другое увлечение. Но не знаю, найдется ли в нашей среде человек, который любил бы эти летние занятия, эту бесконечную работу с тоннами равнодушного металла, эти бесчисленные километры, после которых не чувствуешь под собой ног, эти прыжки по крутым и, кажется, нескончаемым лестницам?...

Можете поверить мне, человеку, который прожил в хоккее половину своей жизни и который знал немало неудач: если ты готов примириться со своими слабостями и простить их себе, тебе не стать настоящим спортсменом.

Сколько нас было, сверстников и погодков, начинавших почти одновременно в разных московских командах: Викулов, Полупанов, Еремин, Петров, Городецкий, Шадрин, Зимин, Мигушко, Гусев, Харламов, Деев, Смолин... Я называю далеко не всех, а лишь считавшихся бесспорно талантливыми, да и из них, наверное, забыл половину. Некоторые из этого списка сегодня известны всему миру, другие же... Понимаю: кому-то не повезло, кого-то подвело здоровье. А все-таки большинство не дотянуло до своего предела потому, что делило хоккейную работу на «черную» и «белую». Делать «черную», ту, о которой я рассказывал только что, им вечно было недосуг. Всегда ведь найдешь у себя недомогание, сердечный перебой, побаливающую старую травму. Так и тянет сказать себе: «На сегодня хватит, мне такие нагрузки вредны, а в хоккей я и так играть умею». И верно ведь — умеет. И играет год, два, три за счет таланта. И вдруг спад, который никто не может объяснить. На одну хорошую игру — три плохих. Поклонники таланта уже косо поглядывают на тренера: «не уберег», «не так использует», «не в ту тройку поставил». Кухни-то нашей, всей сложности и всех деталей хоккейной жизни почти никто ведь не знает. Знали бы — поняли бы, что начал человек, сам того не сознавая, потихоньку губить свое дарование.

Наша спортивная жизнь — это труд. Постоянный, круглогодичный. Дома мы, как солдаты на побывке. И мгновенные озарения во время игры — награда за труд.

Ни научные открытия, ни красивые костюмы, ни тяжелые зерна, ни совершенные детали машин — ничто не возникает случайно. И если я говорю довольно тривиальные вещи о подоплеке нашего, хоккейного, счастья, то лишь потому, что ученого, агронома, токаря, портного все видят в рабочих спецовках, в их повседневном, будничном труде, нас же только в дни праздников — на залитом прожекторами льду, в обрамлении рукоплещущих трибун. И жизнь наша со стороны выглядит цепью ярких событий: игры, переезды, перелеты, манящие названия чужеземных городов. Но и там, за границей, наша жизнь регламентирована все тем же жестким графиком — от подъема до отбоя, с обязательными двухразовыми тренировками, соблюдением режима сна и питания, с напряженным расписанием игр, в каждой из которых надо бороться только за победу, с необходимостью выигрывать время для учебников и

конспектов, лежащих в каждой сумке рядышком с коньками и формой.

Только не надо нас жалеть. Жалейте лучше тех, кто сошел с пути досрочно. Нам еще ждѹт наши прекрасные мгновения. Им же больше не суждено встретиться со счастьем.

Если бы речь шла не о хоккее, а о каком-нибудь другом деле, можно было бы подвести черту всему моим рассуждениям давно известной, не нами придуманной формулой: мы сами — творцы своего счастья. По отношению к хоккею она тоже верна, но только отчасти.

На площадке никто из нас никогда не зависит лишь сам от себя, никто и никогда не бывает предоставлен сам себе. На льду против тебя — команда, два десятка спортсменов. И будь ты хоть семи пядей во лбу, в одиночку ничего не достигнешь. Твоя сила в сотрудничестве. Не только с теми, кто выходит на площадку вместе с тобой, в одном звене, но и со всеми остальными людьми, одетыми в форму твоего клуба.

На эту тему написано и сказано так много, что вроде и добавить больше нечего. Повторять других — занятие унылое и неблагодарное. Да и надо ли? Думаю, что надо. И вот почему. «Спортивная дружба», «хоккейное братство», «единомышленники» — громкие, звучные, кочующие из статьи в статью слова о преуспевающих командах не раскрывают характера наших взаимоотношений, больше того, затемняют их суть. Человеку стороннему сразу рисуется некая идиллия, что-то вроде пионерского отряда, где все пай-мальчики, делящие общие радости и беды, проводящие вместе досуг, совершающие коллективные походы в театр и на выставки.

Все это имеет мало общего с нашими подлинными взаимоотношениями. В команде собраны разные люди. И по возрасту и по интересам. У каждого вне хоккея собственный круг друзей, свои любимые развлечения, свои привычки. Ну, скажем, какая может быть дружба, в привычном понимании этого слова, между тридцатипятилетним отцом семейства Виктором Зингером и Володей Кучеренко, которому едва перевалило за двадцать?

В друзьях, с которыми я связан вне хоккея, для меня важно многое. Так ли они смотрят на жизнь, как я, или нет? Отзывчивы они или равнодушны? Умны или не очень? Узок или широк круг их интересов?

К своим товарищам по хоккею я подхожу с иными мерками. Все их житейские качества тоже, понятно, играют некоторую роль: всегда приятнее общаться с человеком, который тебе симпатичен. Но роль эта второстепенная. А главный и единственно важный критерий — это мастерство, отношение к игре, к команде, к общему делу.

Есть у нас в хоккее пример дружбы, который стал уже классическим, хрестоматийным. Дружбы между Борисом Майоровым и Вячеславом Старшиновым. А ведь в жизни они друзьями не были. Во всяком случае, в зрелые годы. Люди-то они совсем разные: Майоров — вспыльчивый, готовый взорваться по любому пустяку, легко переходящий от одного настроения к другому, Старшинов — молчаливый, весь в себе, ворчливый, вечно что-то бурчащий под нос. И к успехам друг друга они относились с ревностью. А главное — оба из тех, кто может и должен быть в команде лидером. Но команда-то одна, а их двое. Бывало, они и ссорились не на шутку и подолгу не разговаривали друг с другом. Так что меня несколько не удивило, когда они, закончив играть, и видятся перестали.

И все равно иначе, чем дружескими, их отношения на площадке не назовешь. Они выходили на поле и казались связанными невидимой нитью. Один другого чувствовал как своим нервом. Неравнодушные к славе, аплодисментам, рвущиеся во всем быть первыми, они охотно предоставляли друг другу право решающего броска по воротам, если это хоть на сотую долю процента увеличивало вероятность успеха команды. Настороженные в отношениях вне хоккея, Майоров и Старшинов безгранично доверяли друг другу на площадке. Потому что здесь все житейское оказывалось для них незначительным и второстепенным. Все заслоняла собой преданность делу, хоккею, «Спартаку». И в этом, единственном, они были полными единомышленниками.

Меня иногда спрашивают: на кого из спортсменов я хотел бы походить? Такого идеала у меня нет. Не думаю, что человек должен кому-то подражать, лучше всегда и везде оставаться самим собой. Но в одном я завидую Старшинову и Майорову — их умение зажечь партнеров своей неистовостью. Уж очень нужны такие люди команде.

Но о зависти — это так, отступление. Я же веду речь о том, что такое дружба в нашем, хоккейном смысле этого слова. И о том, что она значит для личного успеха и для успеха всей команды. Думаю, и здесь мне выпал удачный жребий: я спартаковец.

Нашему клубу — будь то хоккей или футбол — обычно не хватает игроков первоклассных. Но от нас всегда ждѹт выдающихся достижений, и наши победы над сильнейшими противниками никогда и

никого не удивляют. Считается: «Спартак» должен делать невозможное. Спросите у болельщика, почему он в этом так твердо уверен. Он ответит: потому что есть такие понятия, как спартаковский дух, спартаковский характер, которые восполняют и пробелы в технике и нехватку сил в минуты усталости.

А вы знаете, ведь он и в самом деле существует, этот спартаковский характер! У нас самые яркие «звезды» — обязательно и самые неутомимые, прямо-таки двужильные «чернорабочие». Так повелось еще с майоровско-старшиновских времен. И не приходит «звездам» в голову упрекнуть партнеров: мы, мол, делаем больше вашего, больше забываем, больше трудимся в защите. Потому что всем известно: в команде каждый, независимо от возраста, положения, известности, делает максимум того, на что способен. Мне кажется, что дух команды сегодня наиболее полно олицетворяет наш вратарь Виктор Зингер. Сколько травм выпало на его долю — не счесть. И каки! Зингер ведь расставался уже с хоккеем — и здоровье и возраст требовали. И возвращался опять. Не потому, что поиграть хотелось. Ему говорили: плохо с вратарями, надо вырывать. И он без лишних слов, не дожидаясь уговоров, снова занимает свое место в воротах. Человек, в жизни тихий и скромный, превращается на поле в беззаветного храбреца, презирающего опасность, боль, травмы.

На Зингера я могу положиться, как на самого себя. Так же, как на Володю Шадрина, и на Геннадия Крылова, и на Юрия Ляпкина, и на Валю Гуреева, и еще на многих. Так же, как полагались мы на Вячеслава Старшинова, который, если надо было команде, без тренировок, оставив дела, приезжал на матч и выходил на лед. Кажется, откуда силы у него брались играть от звонка до звонка? Думаю: от спартаковского характера.

В этом сезоне «Спартак» играет лучше, чем в иные годы. И отношение к тренировкам и подбор игроков сказываются. Но, полагаю, есть еще обстоятельство, создающее у команды душевный подъем. Я имею в виду взаимоотношения спортсменов и тренеров. «Спартак» нужен тренер, в котором тоже жил бы этот спартаковский дух, только преломленный специфически, так сказать, в тренерской интерпретации.

Опять-таки воспользуюсь «историческим» примером. «Спартак» в первый раз стал чемпионом в 1961 году. Руководил им Александр Никифорович Новокрещенов. Я-то знаю его как тренера больше по рассказам ветеранов. Был он, говорят, не самым эрудированным в вопросах методики и прочих специальных вещах. Но болел за дело и за каждого игрока страшно, счастье или несчастье команды были его счастьем или несчастьем. И шли он и команда всегда в ногу, понимали друг друга без слов.

Полной аналогии между ним и нашим теперешним тренером Николаем Ивановичем Карповым, понятно, нет. У Карпова и собственный опыт известного мастера, и высшее образование, и практика работы за рубежом. Но он напоминает мне его давнего предшественника своим отношением к делу, своей беззаветностью, своей преданностью команде и тем взаимопониманием с игроками, которым обладал Новокрещенов. Вот умеет он сделать так, что играть нам всегда хочется. Возможно, мы в этом году вновь станем чемпионами страны. Пишу так осторожно потому, что до окончания первенства осталось несколько туров и всякое может случиться, но независимо от конечного результата и команда и тренер могут быть довольны друг другом.

Команда — это два с половиной десятка хоккеистов, людей, как я уже говорил, во всем разных, начиная от возраста и кончая кругом интересов. Но перед хоккеем все мы равны. И, значит, дисциплина для всех обязательна. Сколько помню себя в хоккее, почти все тренеры — и в сборной и в «Спартаке» — в любой мелочи не делали между нами различия...

Нынешний наш тренер, кажется мне, сумел отыскать ту очень тонкую и трудно различимую грань, которая отделяет мелочи от главного. Финиш прошлого сезона, когда для «Спартака» решалось многое, совпал у Вячеслава Старшинова с последними днями подготовки к защите диссертации. И вот мы приезжали на тренировки с нашей базы, из Серебряного бора, а он — из дому, от своего рабочего стола. И на игры тоже. По обычным нашим спортивным меркам случай из ряда вон выходящий. В другой команде сказали бы: «Нельзя, пусть это и Старшинов: дурной пример заразителен». А у нас можно. И не потому, что Старшинов — имя, а потому, что всей жизнью своей в хоккее доказал, что на него можно положиться во всем и что общие интересы для него важнее всего.

И Виктор Зингер у нас имеет право, если считает нужным, пропустить тренировку или поработать на занятии меньше других. И Володе Шадрину, студенту Института нефтехимической и газовой промышленности, всегда пойдѹт навстречу, когда он скажет, что надо подогнать «хвосты». Это не выделение любимчиков. Каждый у нас знает: доверие надо заслужить, просто так, как аванс на будущее, оно не дается.

Труд, преданность делу, единство и взаимовыручка — вот слагаемые, из которых складывается «хоккейное счастье» игрока. Вероятно, они общие для всех. У меня же есть еще одно, личное. Оно, это слагаемое, — сильный противник. Только в таких играх ко мне приходит то самое озарение, о котором я рассказывал и которое наполняет мою жизнь в хоккее постоянным ожиданием счастья. У меня поднимается настроение, и я чувствую прилив сил, когда вижу, как на той стороне поля место занимает Валерий Васильев или Владимир Лутченко. Я готов сделать больше, чем могу, если надо, разорвать оборону ЦСКА и «выстрелить» по воротам, в которых стоит Владислав Третьяк. Я осознаю, что меня здесь ждѹт куда больше неудачных попыток, чем удачных. Но чего они стоят, все неудачи, рядом с одной единственной удачей!

Наверное, потому я всегда ждѹ с волнением и нетерпением встреч с канадцами. Канадцы — противники не просто сильные. В игре они жестоки и беспощадны. И к себе и к сопернику. И, садясь на скамейку передохнуть после очередной смены, ты всем телом ощущаешь эту беспощадность — ее вещественные доказательства остаются на твоих боках, коленях, локтях. Но сидишь и ждѹшь не дождешься новой команды: «На лед!» И ведѹт тебя вперед жажда переломить ход борьбы, забить еще... И притом доказать и себе и всем, что ты не слабее, что ты их не боишься, что тебя не сломить и не вывести из равновесия.

На моем хоккейном веку не одна сотня матчей, и побед в них было больше, чем поражений. Любая победа приносит радость. Но никакая другая не приносила мне такого удовлетворения, как победа над канадцами, ни одна не наполнила такой гордостью за нас, за наш хоккей, за нашу команду.

...Да, у меня за спиной не одна сотня матчей. Это много. Что поделаешь, они уже где-то здесь, почти рядом, они уже стучатся в мою дверь — тридцать лет...

В спорте тридцатилетие — вроде шестидесятилетия в обычной жизни: тебя награждают, выделяют, при любом случае хвалят. А за всем этим молчаливый намек: не пора ли и честь знать? И пусть сам ты не ощущаешь груза лет, пусть знаешь, что еще долго будешь способен на многое, сознание, что ты подошел к некоей незримой границе, не покидает тебя. Стоит тебе ее преступить, и ты каждый день, каждый час должен доказывать свое право на место по ту сторону бортика хоккейного поля, где лед и шайба, где идет игра.

Надо доказывать. Делом. Потому что в спорте словам не верят. И ты никому не объяснишь, что чувствуешь себя в расцвете сил, что именно сейчас знаешь и умеешь столько, сколько не знал и не умел никогда, что только сейчас достиг пика, с которого видно то, что открывает человеку зрелость. Не верят в спорте словам и не прощают слабостей. По крайней мере тридцатилетним. Тридцатилетний обязан быть сильным всегда, на каждой тренировке, в каждом матче.

Чем ближе рубеж, тем чаще задаю себе вопрос: готов ли к борьбе? Сумею ли выстоять? И отвечаю, как, наверное, каждый из нас: постараюсь. Потому что не представляю, как это так — не выходить на лед, не сражаться за победу, не сталкиваться лицом к лицу с сильным противником. Не представляю, как жить без ожидания этих счастливых минут озарения.

Но, как бы там ни было, хоккейный век короток. Впереди у меня меньше игр, чем осталось позади. Что же делать потом? Себе я уже ответил: с хоккеем не расстанусь. Хотя понимаю: специалитет тренера и игрока — совсем разные. Выйдѹт ли из меня тренер? Сумею ли, став тренером, быть таким же нужным «Спартаку» человеком, каким я, надеюсь, был, как игрок? Институтский диплом не дает тут ни малейших гарантий. Слишком богата история спорта вообще и хоккея в частности примерами, когда даже выдающиеся игроки терпели поражения как тренеры.

Так откуда же тогда моя категоричность? Невозможно оставить дело жизни — вот откуда. И опыт сотен из нас это подтверждает (тех же братьев Майоровых и Старшинова — дипломированных инженеров, Владимира Юрзинова — выпускника факультета журналистики МГУ). Одни ни на день так и не расстались с хоккеем, другие попробовали — не получилось, вернулись. Да и не могли не вернуться. Я бы даже сказал так: обязаны были вернуться. Ведь самое-то полное и самое высшее образование у них все равно хоккейное. И знаний у них здесь накоплено столько, сколько ни в какой иной области им уже не накопить. И разве это правильно, чтобы такой багаж пропал без дела, когда он хоккеем необходим, как воздух?

Конечно, прекрасно, если есть у тебя педагогический талант. Но талант — прежде всего труд. И пусть я не стану, скажем, Чернышевским, Тарасовым или Кулагиным. Но и бесполезным, лишним человеком в хоккее не буду. А раз так — значит, мое место здесь. Навсегда.

НОВОЕ ИМЯ

Наталья ВОРОБЬЕВА



Я никогда не видел Наталью Воробьеву и знаю о ней не более других внимательных читателей ее стихов. Впрочем, все же немного больше.

Знаю, что она выросла и работает в Вильнюсе — прекрасном городе, где святые камни древних крепостей легко уживаются с корпусами заводов и новостроек. Что она работает в библиотеке, как библиописец Крылов... Наверное, именно эта культурная традиция, унаследованная и благоприобретенная, помогает ей писать кратко и точно. Думаю, эта же культурная традиция, ее соль, ее власть помогут Воробьевой оборотиться на город свой, на земляков своих...

Я легко прочитываю в стихах молодой поэтессы жизнь ее души, и это уже бесконечно много. Но мне хотелось бы прочитать в этих стихах также душу окружающей ее жизни. Надеюсь, для того, чтобы укрепить поэзию — действительно, лиризм, реализм, — сил и таланта у Воробьевой достает.

Борис СЛУЦКИЙ



Забыла — снег давно растаял,
а я ручьев не сберегла,
и роца мается пустая,
листва в ней наземь полегла,
какая ветреность — расстаться,
предать заветные места,
какая ветреность — остаться
вдруг без единого листа,
вот так ни шороха, ни вздоха
в себя хвастливо не принять,
боясь какого-то подвоха,
листву на сучья променять.



Когда седая умудренность
радушно просится в друзья,
вдруг возникает убежденность,
что без нее никак нельзя.
И неуверенность бывшая
вдруг начинает тяготить,
ее лукаво отсылаем
к неумудренным погостить.
Наивность тоже не годится,
теперь положено все знать,
иною дружбою гордиться,
иных подруг к обеду звать...



Синий ветер — вечер — снится...
Синий берег — не беречь!
Не гордиться, не виниться,
а под осень листья жечь!
Эта желтая обитель —
не твое — мое! — жилье,
пусть не любит, пусть обидит
в поле колкое жнивье...
Но за лесом стонут, стынют
сена синего стога...
Наши беды с нами сгинут,
и останется строка.



В метель

Метель! Приму твои заветы
и в пляс диковинный пуцусь,
и злого странника наветы
из сердца вон! В снегу плещусь!
И кружит сказочная стая,
меня лаская на лету,
и все бегу, не уставая,
за нею вслед сквозь суету.
И шаг шальной поет и плачет!
Метель, притворщица, люблю!
И дерзкий стих, что только начат,
губами жаркими ловлю!



Дописана последняя страница,
в последний раз сквозь ветви напролом,
и прелый дух над чащей заструится,
и тихо вскрикнет ветхий бурелом.
Дописана! Как лист осенний рухнет,
под чьими-то ногами догорит,
и только эхо, эхо где-то ухнет,
и странно птица в небе запарит.
Дописана! Отвергнута удача,
брошен след — ни шага, тишина,
и не начать строки уже иначе.
Дописана! Судьба предreshена.



Сквозь все свои поспешности проникни
на замершие улицы мои
и на снегу следов не утай,
а в темноте доверчиво оклики,
на миг один войди в заветный дом,
неверности оставив за порогом,
и объяви забывчивость пороком,
и прокляни пустой аэродром,
но если сможешь вдруг себя простить
и под окном заученно проститься,
мой город все равно тебе приснится,
и будешь по огням его грустить...



Струится Сена, словно сны,
и лодку легкую качает,
она меня не замечает,
ей берега свои тесны.
А мне не надо бы сердиться
и в лодку легкую садиться,
но я доверчива, как снег,
и непослушна, как метели,
я знаю, милый человек,
вы не со мной в нее хотели...
Мерцает призрачно вода,
и лодку легкую качает,
и ничего не отвечает...
У каждого своя беда.



г. Вильнюс

Светлана МЕКШЕН

На улице тает

Февраль куролесит: то морит морозом,
то снегом вскипает.
Одуматься — рано. Опомниться — поздно.
На улице тает.

Подледная рыба у проруби жадно
ртом воздух хватает:
«Глоток кислорода... А там — хоть за жабры!»
На улице тает.

Подстреленной птице на землю сорваться,
отбиться от стаи —
не страшно!

Но грустно весны не дожидаться —
на улице тает...

Двух рук разобценность рассвет подытожит
и разом сквитает.
Уж лучше теперь, чем пожизненно «позже...»
на улице тает.

Все спит туман и на память о прошлом
следов не оставит.
Но это потом. А пока что безбожно
на улице тает.



Все сызнова начать. Чтоб занесло
меня в капкан двора непроходного.
в обман календаря перекидного,
где, нет, еще не красное число.

Раздать долги — и разом погасить
надежду на спасительное «позже».
И, стало быть, над действием ничтожным
лишь занавес тяжелый опустить.

Но, возвращаясь к радости забав,
вносящих хаос в правила порядка,
вдруг ненароком выронить закладку
на самой интереснейшей из глав.



И я благоразумной быть могла,
когда бы вместо лба
чело имела,
когда бы чаще под ноги глядела
и, удила не закусив, жила.

Тогда бы остерег меня давно
счастливый случай
иль попутчик добрый.
Но не был дом мой крепости подобен,
а друг и враг в нем были заодно.

Была моя ошибка тяжела:
я вечно виноватой оставалась
за то, что, всех спасая, не спаслась
и, все прощая, прощенной не была.



Не нравится мне собеседник,
чей голос звоночком в передней
стеснительно станет трещать
и чуть не с порога заладит:
«Я средний. И этого ради
мне многое надо прощать».

Позвольте, какое прощенье?
У нас равноправье общенья,
язык пониманья один.
Мы, стало быть, общего рода —
того, что зовется народом,
того, что вовек неделим.

«Я средний» — на случай убранство,
в котором удобно убраться
с глаз тех, кто чуть выше плечом.
Не ради того, чтобы «выждать»,
мы выжили там, где не выжить,
в итоге чтоб быть ни при чем.

И день наступает не просто,
где мы, словно по полю просо,
рассыплемся — с толком ли, без...
Наш день к нам придирчив всесчасно,
поскольку находит средь нас он
не средних, а равных себе.

г. Липецк



БАЙКАЛ.



МОСКВА. МОСТИК ЧЕРЕЗ КАНАЛ.

Николай ВОРОНОВ

Работы Виктора ГОНЧАРОВА

МОСТ ЧЕРЕЗ



БАМ. ПОСЕЛОК ЗВЕЗДНЫЙ.



МОСКВА. ФИЛИ.

Я ехал учиться в Москву. Прямого поезда из Магнитогорска до столицы не было. Я сделал пересадку в Челябинске. С великими трудностями закомпостировал билет, потому что даже транзитные пассажиры сидели там неделями, и, счастливый, ехал на запад. Через какие города будет следовать поезд, я не знал, и вдруг рано утром с багажной полки услышал, как вокзальный голос объявил, что наш поезд прибывает на станцию Сызрань. Девятилетним, сбжав из дому, я мечтал добраться до здешних мест, которые мне представлялись вишневым раем, но, увы, не добрался: помешали. Потом уж не чаял оказаться на земле Сызрань и вот стою на ее, несмотря на рань, шумливом перроне. Идет быстрый торг. Продвигают яблоки, помидоры, арбузы, дыни, топленое молоко в бутылках, варенец в крынках, как бы запечатанных сливочно-коричневой пенкой. Хотя цены против уральских очень сходные, я покупаю лишь варенца да пару помидоров: деньги на исходе. Прежде чем подняться в вагон, подхожу к инвалиду, продающему газеты и журналы на завертку. Покупаю июньскую книжку журнала «Знамя» за сорок седьмой год. Под потолком вагона листаю журнал. Удивляюсь новому для меня поэту—Виктор Гончаров,—а еще сильнее удивляюсь подборке его стихотворений. В ту пору я прочитывал потоки стихов, однако редко встречал сжатые стихи, в которых один факт может осветить судьбу героя, события прошлого и настоящее состояние народной жизни. При том, что все это было в стихах Гончарова, особенно в «Возвращении», они еще несли в себе и зримые детали, возбуждавшие картинность воображения.

*А все случилось очень просто...
Открылась дверь, и мне навстречу
Девчурка маленького роста,
Девчурка, остренькие плечи!*

*И котелок упал на камни.
Четыре с лишним дома не был...*

*Никому ни в чем не уступать.
Я сегодня буду самым смелым,
Самым сильным—буду сам собой!
Разноцветным:*

*красным,
синим,
белым,
Радугу открывшим над рекой.*

Захватывало дух воплощение, которое нашел для самого себя поэт. Увлекало его мощное желание независимости. Приводило в смятение обещание самому себе и еще кому-то, наверно, всем, кто прочтет, быть самим собой. Мне вспомнились люди, поступавшие не так, как должны были поступать по роду своего характера и ума, и я почувствовал в своем сердце сострадание, но оно не устранило моего недоумения. Если когда-нибудь случится встретить Виктора Гончарова, то попытаюсь разрешить это недоумение.

Я приехал в Москву учиться в Литературном институте, еще не зная, принят или нет. Только второго сентября выяснилось, что принят. Правда, занятия в институте еще не начались. Меня поселили в комнату, находящуюся под зданием Литинститута. Комната была густо уставлена железными кроватями, и сидели на них таланты, собравшиеся из разных краев нашей земли. В предшествующие дни я успел сдружиться с прозаиком Сергеем Никитиным, который перевелся в Литературный из Института международных отношений, с бывшим летчиком-истребителем Александром Шабалиным (как и Сергей Никитин, он был из Коврова) и с длинноногим Спартаком Куликовым из Сибири, недавно демобилизовавшимся из авиационных технических войск, принятым в институт за одно стихотворение и без аттестата зрелости. Было в комнате еще три свеженьких студента: учитель из Якутска, рабочий из Свердловска, сталинградец с физиономией пройдохы.

Надо было отпраздновать наше поступление в Литинститут. Скупились. Никитина и меня отрядили на Палашевский рынок за картошкой. К нам, хотя и ходил на протезе, присоединился Шабалин. Цены на молоденькую картошку кусались. Купили старой, подмороженной: она выделяла коричневатый, клейкий, как патока, сок. К

никто не сказал ярче меня: «луны сверкает бронзовый топор».

— Хорошие образы.

— Хы, хорошие. Превосходные!

— Они выбрасываются из потока стихотворения, как сазан из реки, за ними исчезает содержание. А раз они существуют сами по себе, они просто-напросто упражняют на образность.

— Чего-то ни у кого раньше не было таких упражнений. Ну-ка, почитайте свои варианты. Поглядим, что за образы...

Перед тем как старшекурсник начал читать, кто-то спросил у него фамилию. Он нехотя ответил, что зовут его Семеном, а фамилия Гончаров, но стихи он подписывает именем Виктор Гончаров.

Я поразился: так вот кто у нас в комнате. Прямо невероятное совпадение. Я не утерпел и сказал, что в Сызрань купил шестой номер «Знамени» с его стихами. Он улыбнулся, поняв мою тщеславную радость, и стал читать фронтные стихи. В них было о том, как в бою сквозь его грудь прошли расплавленные пули, как с него угрюмые солдаты неосторожно сняли сапоги и как он не осудил их за это, потому что им в бою жестоко не обойтись без кирзовых сапог. Затем было два госпитальных стихотворения, тоже вобравших в себя беспощадную военную действительность. В ту пору редко кто из поэтов поднимался до такой безбоязненной правды.

Наперобой мы хвалили Гончарова за честность и смелость, но больше хвалили за изобразительные находки. Наш восторг вызвали «тиски скулы, захавшие последний стон», «закат, отброшенный за хаты», «Глотая кровь, ты сам попросишь своих друзей добыть тебя. Но не добыют... Внесут в палату, дадут железных капель пить, наложат гипс, и в белых латах, как памятник, ты станешь жить».

Тронутый нашим восхищением, он прочел «Дождь», «Утром в запахах самана», «Мать», «А все случилось очень просто»... Тут распилась и важная сдержанность Спартака Куликова. Он сказал, что образы «Шарф зари швырнув за плечи» и «Я пройду, как ливень летом, небо радугой разрезав!» вполне приближаются к его космическим образам.

Ариетские стихи Виктора Гончарова разбередили душу Александра Шабалина, и он прочитал стихи о своем последнем воздушном бое, во время которого его истребитель разворотило зенитным снарядом, а ему самому оторвало ногу, но он все-таки дотянул до земли и хотя и врезался в нее, однако не разбился до смерти. Это возбудило воспоминания о военных лихолетьях. Тогда я узнал, что Гончаров был трижды ранен, что дважды уцелел от верной гибели: благодаря красноармейцу-казаху (он вынес его на себе с поля боя) и благодаря медсестре (она отравила его, тяжело раненного, из окружения на последнем самолете, а сама осталась там).

Поздно вечером мы вышли в институтский двор, потихоньку побрели на Тверской бульвар. Гончаров перенес сложную желудочную операцию—последствие фронтных ранений, он не совсем еще окреп и двигался, слегка угнувшись и словно бы вонзая кизиловую палочку в асфальт. Тут я и спросил его о том, чем вызвана в «Дожде» мысль быть самим собой. Я стеснялся, когда задавал этот вопрос: то, что очевидно для Виктора Гончарова, может казаться понятным и любому другому человеку. Нет, он не думал так. Напротив, он жил с убеждением, что немалое число людей зачастую даже не сознает трагического отхода от самих себя. А если и сознает, то не умеет, боится или не хочет вернуться к истокам собственной природы. Однако важно не только понимание того, что нельзя изменять самому себе, а, наверно, еще важнее интуитивное стремление держаться самого себя. Взять наш институт. Учится в нем рассказчик, деревенский парень. Поначалу над ним смеялись: Ванька от сохи. Он писал стихийно, но мудро, лукаво, о родной деревне, и это, на взгляд Гончарова, было прекрасно. Но парню устраивали на семинаре раздолбы, пеняли Хемингуэем, дескать, содержание рассказов, взаимоотношения героев, их разговоры должны напоминать айсберг: только макушка над поверхностью, а остальное в океане, в глубине. А парень шел от русского народного творчества. Оно-то как раз и сильно открытостью своего содержания. Теперь он жарит под Хемингуэя, его расхваливают, а он цветет, не подозревая, что грех подражательства самый непростительный из писательских грехов. Крылов пусть несколько простовато, зато доходчиво определил необходимость творческой индивидуальности: лучше лягушкой проквасить, но по-своему. Объясняя мне, что опасность потери присущих нам свойств чрезмерно велика, Гончаров сослался на собственное детство. Он любил рисовать, а отец урезонивал его: ты, мол, казак и должен готовиться к крестьянскому труду. Отец отбирал у него альбомы, краски, карандаши, а иногда и сек, приговаривая: «Не рисуй, не рисуй! Твое дело хлеб растить». Великое предзнаменование—быть хлеборобом! Это отец пытался внушить ему, но так и не сумел, хотя и отвалил от рисования. Побуждения отца были возвышенными, да не совпадали со стремлением сына. Наше стремление загадочно и подчас, к счастью или несчастью, неодолимы. Конечно, стремление может быть убито, может пригаснуть, может затанцевать. Теперь он опять рисует, правда, только пером, шаржи на соучеников.

В тот же далеко отлетевший от нас теплый сентябрь-

ПРОШАСЬ

*А дочка, развея руками,
Сказала: «Дядя, нету хлеба!»*

*А я схватил ее—и к звездам!
И целовал в кусочки неба.
Ведь это я такую создал—
Четыре с лишним дома не был...*

Острота восприятия, видение изображенного нередко зависят от опыта переживаний самого читателя. А к тому времени у меня, как и у лирического героя Виктора Гончарова, остались позади четыре с лишним хотя и не фронтных, но достаточно тяжелых военных года в тылу: холод и голод я испытал, узнал радости и надрывность металлургического труда, находился в заплатанной одежде... Так что предствление мое с полной отчетливостью вобрало в себя девчурку маленького роста (не маленькую девчурку), девчурку, остренькие плечи, фронтника, вид которого являл собой изможденность и нужду, и то, как невероятно истосковался он по дочке, что, подняв ее над собой в вечернее небо, как бы ощутил свои руки вытянувшимися до звезд, а также то, что он, победитель фашизма, установитель мира на планете, не этим в себе восхищен, а тем, что создал девчурку с небесными глазами. Пытаясь понять, какими средствами так много удалось Виктору Гончарову сказать в трех строфах, я отдавал себе отчет в том, что анализом можно умалить красоту и цельность стихотворения, и все-таки мне казалось, что в основе его замечательно простого мастерства покоятся приемы, присущие живописи, причем монументальной («И я схватил ее—и к звездам! И целовал в кусочки неба»). Другое стихотворение, «Дождь», воспринималось как огромная поэтическая фреска. Первые же строфы вводили в мир неба, дождя столицы и в мир самого поэта, полного надежд, противоборства, загадок.

*Я сегодня—дождь.
Пойду бродить по крышам.
Теплые панели поливать.
В трубах тарыхтеть и никого не слышать.*

нашему возвращению был нарезан черный хлеб, почиена селедка. Оставалось сварить картошку. Между койками шныряющим шагом расхаживал какой-то человек. Не обращая ни к кому, он говорил о несправедливости в распределении славы, наград, званий, гонимых. Неоднократно ему пришлось выступать перед многолюдными аудиториями с поэтом, увешанным лауреатскими медалями, орденами, имеющим роскошную квартиру, дачу. Публика принимала его лучше, чем того поэта, и сам поэт высоко ставит его, а вот гниешь в подвале, мало печатают, замалчивают. В комнату заглянула девушка. Она пыталась вызвать гневающегося старшекурсника, но он злобно отмахнулся. Вскоре она опять стала вызывать его: стынет обед. Старшекурсник выскочил в коридор, где находился крохотный кухонный закуток, послышались ругань и звон разбитой посуды. Выскочил туда и я, возмущенный его издевательством над девушкой. Мы схватились. Нас растащили.

Картошка неприятно сластала, но с ржаным хлебом и селедкой мы уплели ее подчистую. Когда распивали белый напиток, появился другой старшекурсник. Мы встретили его с холодком. И этот, наверно, приметит возмечивать себя и, чего доброго, тоже раскочевряжится в кухонном закутке. Но не было в нем ни раздражающей верткости, ни брюзгливого нытья, ни презрения к нашим судьбам. Что-то больное в походке, сел на кровать, оперся о кизиловую палку. В глазах веселое любопытство, а сквозь это любопытство нет-нет и просветит грусть. Волосы черно-черные, со стеклянными отливами, линия носа обрывистая, губы темные, словно только что лакомился черемухой. Похож на индейца, а если глядеть сбоку—даже очень. Спросил, есть ли среди нас поэты. Отозвались Куликов, Шабалин и я.

— Почтайте.

Задиристо-театральный Куликов вылез из-за стола, продекларировал, пылая задором, стихотворение. Через мгновение мы принялись восторгаться, только черноволосый молчал.

— Чего думать?—возмутился Куликов.—У кого еще можно встретить такие образы: «гром ударил в свой железный барабан»? А про луну сколько писали?! И

ский вечер Виктор Гончаров прочитал мне короткое, без названия стихотворение.

*Ветер слезно с кем-то спорит.
Даль туманами покрыта.
Завтра в море, завтра в море
Отплывет мое корыто.*

*Утлое, подбито бурей,
Скромно дышит на причале.
В нем давно мечты уснули,
В нем давно одни печали.*

*Это ничего не значит
Перед всей пространной далью.
Я на нем большую мачту
Из мечты своей поставлю.*

*Небо вырежу на парус,
Месяц будет лучший якорь.
Ничего, что так пришлось,
Ничего, что ветер плакал.*

Меня словно бы опажнуло скорбью и надеждой, но так как причины этих чувств оставались скрытыми, а интонация стихотворения дышала глубокой печалью, я закручинился. В ту пору я лишь мог догадываться, что за скорбью человека, вынесшего на своих плечах войну, таятся неведомые мне страдания. Они так горьки, многозначны и необозримы, что их выражение должно носить характер, свойственный музыке. Разве симфоническую печаль мы связываем с определенным событием? Мы воспринимаем ее как результат многих болей и тревог, которые композитор испытал лично сам, извлек из судеб других людей и современных ему событий, вобрал из музыки предшественников, воспринял через постижение истории.

Позже, когда узнал, что привелось увидеть и вынести Виктору Гончарову на войне, как он бедовал, вернувшись инвалидом домой, к маме (старик отец погиб под Севастополем, добровольцем вступив в армию), какое недавно пережил предательское вероломство со стороны близкого друга (пока валялся в больнице, тот соблазнил его любимую девушку), мне открылось то, что возбудило невольную мелодию плача в стихотворении «Ветер слезно с кем-то спорит», что нашло воплощение в образе утлого, подбитого бурей корыта, в котором давно мечты уснули и лишь одни печали. Я сразу целиком принял и запомнил это стихотворение, но меня все-таки вводил в сомнение резкий переход от горевой беспросветности к романтическому задору, который тут же соскальзывал в смиренное самоуспокоение. Порой я склонен был думать, что Виктор Гончаров скатился к некоему трафарету: от упадка духа к оптимизму. Течение жизни поэта, мнилось мне, должно было ограничивать его чувства пределами отчаяния и скорби. Но в том-то и дело, что для меня оставались закрытыми ключевые факты из жизни Виктора Гончарова, которые предопределяли рыбок его настроения: от беспросветности к надежде.

Мало-помалу мы открывали друг с другом все доверительнее, вот я и узнал о них.

В обстоятельствах летнего отступления сорок первого года один из младших командиров, находившихся в подчинении лейтенанта Гончарова, допустил преступное легкомыслие, в результате которого у него выкрали оружие. Комбат решил отдать вертопраха под трибунал, но Гончаров запротестовал. Комбат взбеленился и, ткнув пальцем в сторону сарая, приказал Гончарову проследовать туда и застрелиться. Гончаров тоже взбеленился. Ошибка могла окончиться дуэлью. Мимо них проходил командир дивизии, в прошлом он был начальником военного училища и помнил курсанта Гончарова. Комдив урезонил комбата, посоветовал считать со сложностью обстановки, не велел судить провинившегося. Вскоре тяжелораненого Гончарова вывезли на последнем самолете из окружения. Тот, кого он защитил, остался в окружении. Именно этот человек, по-прежнему военный, но теперь уже в чине майора, окликнул в метро Виктора Гончарова, недавно еле выжившего после операции и теперь существовавшего кое-как на небольшой литинститутскую стипендию. Майор увез Гончарова к себе. Несколько месяцев вместе с женой выхаживал. Спасенный спас своего спасителя.

Нет сомнения, слезы и взлеты настроения не могут не находиться в прямой зависимости от пик и обрывов в судьбе поэта. Мучительная переменчивость настроения вообще свойственна характеру Виктора Гончарова, но, сопровождая его жизнь, она и на день не в силах отменить постоянства его веры в творчество, доброту, самопожертвование, оптимизм. Исход самого обжигающего отчаяния Виктора Гончарова стихийно или сознательно всякий раз как бы вновь воплощается в образах стихотворения «Ветер слезно...»: «Я на нем большую мачту из мечты своей поставлю. Небо вырежу на парус. Месяц будет лучший якорь!» В этих же зримых образах мощно проявила себя потребность живописного выражения мира человека и мира природы.

В студенческое время с превеликим огорчением я догадался о том, что у разных родов искусства и у их жанров есть свои стесняющие творца возможности и очертания, правда, зыбкие, пульсирующие, способные

выбрасываться за свои пределы, как солнечная плазма. Отсюда и «непостоянство» родовых и жанровых привязанностей. Скульптор и живописец Микеланджело пишет стихи, драматург Грибоедов сочиняет музыку, универсальный писатель Рабиндранат Тагор рисует, живописец Николай Рерих вдохновенно работает как поэт и прозаик... Догадался я также и о том, что новые поколения писателей, художников, музыкантов охотно довольствуются формальными средствами своих предшественников, не помышляя о создании свежих образно-стилистических средств и жанров. Традиционник — фигура неизбежная, прочная, богатая. В его арсенале техника и содержание, достигнутые классиками. Изумительная действительность его произведений основывается на том, что он привычен, ясен, поглощается без усилий со стороны мозга и сердца. Труден переход от поэзии к прозе или драматургии, еще трудней он от прозы к поэзии, страшен и сложен, подчас трагически опасен — от писательства к скульптуре: риск тут почти таков, как если бы морской корабль с целью продолжения движения ринулся на сушу. Искательство, переборка из стихии в стихию немислимы без риска. На приязнь, поддержку, понимание здесь не очень-то приходится рассчитывать. Даже удачливых и знаменитых людей ждут сложности. Наша поэзия, наш эстетический вкус и наш читатель не балуют белым стихом. Даже Пушкин «горит» на этом. Возьмите «Бориса Годунова» и «Маленькие трагедии», которые никак не утвердятся при всей своей гениальности на театральной сцене, и вы согласитесь со мной. Замечательные поэмы Владимира Луговского, написанные белым стихом, так и не увенчались лауреатством. Превосходного генерала и талантливого писателя Петра Вершигору преследовало зловещее: «Генералы считают его писателем, писатели — генералом». Композитор Никита Богословский, являющийся блистательным столичным остроумцем, издавший три юмористические книги, в какой уж раз не принят в Союз писателей. Знаменитый актер Иннокентий Смоктуновский недавно напечатал в журнале «Студенческий меридиан» записки о Чили, в которых открылся его поистине редкий писательский дар, и никто из критиков не закричал об этом. А вспомните Василия Шукшина. Он был оригинальным рассказчиком, имея его может дерзко и достойно держать рядом с лучшими рассказчиками планеты. А часто ли печать замечала его как прозаика сквозь актерские и режиссерские достижения? В основном в последние годы его жизни.

Я специально пишу об этом обстоятельно, потому что приближаюсь к тому периоду в творчестве Виктора Гончарова, когда он сделается скульптором, графиком, живописцем, создателем жанра стихотворных лад, и когда критика забудет о нем как о поэте и не захочет замечать его скульптур, дружеских шаржей, сделанных пером, пейзажей маслом, пастельных портретов, и когда его искательство прекрасно воплотится в целом ряде необычайных произведений.

Я не претендую на исследование многообразного творчества Виктора Гончарова. Я всего лишь иду по следам личных впечатлений от его работы поэта, скульптора, живописца, рисовальщика, чтобы обратить внимание на его пластическое, нравственное, философское видение и чтобы разбить молчание.

Литинститут он окончил раньше меня. Много путешествовал. Мы встречались редко, а когда я вернулся на Урал, в Магнитогорск, — и того реже. В один из моих приездов в Москву он с присущей ему детской радостью похвастал, что занялся скульптурой, и, вероятно, не зря: кое-кому из людей понимающих его работы нравятся. Среди них Всеволод Иванов, Назым Хикмет, Ираклий Андроников, Михаил Светлов, Маризтта Шагинян. Посмеиваясь, он рассказал, как в Малеевке, что под Старой Рузой, устроил веселый розыгрыш. Нашел серый камушек, высмотрел в нем мужское лицо и, чтобы лицо четко обозначилось, поскребся по камушку перочинным ножом. Неподдалеку от Малеевки производились археологические раскопки. Ради потехи бросил камушек в грязь. Неделию спустя поднял его в присутствии директора Дома творчества писателей. Скульптура произвела на директора сильное впечатление. Психологический расчет оправдался: директору вспомнилось, что кто-то нес скульптуру с раскопок, может, даже украл ее, да обронил. Гончаров хотел забрать «находку», но тут-то было: директор реанимировал ее, дабы собственноручно передать представителям науки. Прознав о камушке, в директорский кабинет потекли писатели, разглядывали мужское лицо, восторгались: дескать, умели древние. Решив покончить с мистификацией, Гончаров признался директору, что сделал скульптуру сам. Директор не поверил: он не из простаков и не позволит уплыть музейной вещице в частную коллекцию. Археологическая экспертиза разочаровала директора.

В другой свой приезд я увидел изображение того лица, которое обманул директор и обитатели Дома творчества. Лицо было проникновенное, чуть огорченное сетованием и, казалось, восходило сквозь вековые напластования минувшего. После я целый день толкался в мастерской Виктора Гончарова. И хотя в ней было тесно, произведения, скопившиеся здесь, создавали впечатление неохватимое, многозначное, фантастическое. Акварели, терракотовые головы, глыбы иссиня-черного скаль-

ника, обкатанные морем и слегка тронутые победитовым резцом, перистый коралл, на фоне которого, напоминая Афродиту, словно бы вырастает из волны белоаморное женское тело, грецкий орех с пиришественно-радостной, плутовски отчаянной физиономией аварского джигита, древесные корни, среди которых нож и стамеска ловко отыскивали низвержение бесстыдных человеческих фигур, триптих маслом — он еще не окончен — на сквозной мешковине величественные, соборной вышины люди, познавшие доблесть, страдания, тишину послеплодородной земли. Выше триптиха (он дышал Россией), под потолком широкой улыбкой добродетель улыбался Ярило. Превосходно увязались в жизнедающем патетическом образе главного славянского бога крымская сосна и береговой камень из Коктебеля. Как ни странно, близости от них, приколотый булавкой к стене, производил впечатление набросок пером на клочке бумаги: спиной к зрителю сидит на крохотном ослике горец, слегка приподнято левое плечо, на легком взмахе правая нога, и движется, движется, движется незадачливый всадник, песни да бесшабашность сопровождают его в дороге. Не впервые я удивлялся тому, какой тонкий он рисовальщик, Гончаров. Может, поэтому с придричивой пристальностью остановился перед другим рисунком тушью, откуда пронизательно, без усилий узнавая тайны посторонних душ, глядел на меня знакомый пилит. Но в следующую миг взликовал, потому что обнаружил в нем готовность к неунынности да еще и понял, почему она угнездилась в его натуре: обожает пройдоху плотоублажение, а жизнь поощряет его страсть, вот ведь только что угостила сахарной костью и впредь обещала баловать, если он будет верен бодрому мироощущению. Знал я пилита, находил, что дремучесть порождает в нем пороки, а выходит, что дремучесть-то — искусная маскировка, а под нею ясное понимание того, как достигается незыблемое благополучие. И постиг пилита не, а Виктор Гончаров. Внешнюю похожесть я находил не суть важным достоинством. Пилит был похож, великолепно похож! И я подумал, что, пожалуй, недооцениваю ее. Наверно, не случайно так высоко ценят рабочие люди внешнею похожесть в фотокарточках и живописных портретах. И все-таки то, что Гончарову удалось вытащить из потаенностей пилитовой натуры, главней, самое главное. Не без оторопи я склонился к голове стихотворца, вылепленного из глины. Сходство тоже отменное, и тоже знакомый, но ценный мною, не за поэтическую продукцию — за неустанное гостеприимство. Приедешь. Гостилицы забыты. Друзья, кому ни позвошишь, к себе не зовут. А он безо всяких разговоров: «Ты где? Мчись сюда. Не захватишь ли чего макренького?» Еще как захватишь: в знак благодарности за избавление от вокзальной ночевки! Он! Длиннощия, вогнуто-выпуклая шея. Кадык, будто повторение носа. Губы раструбом, в готовом напряжении, словно он собирался припасть к краю ведра.

О чем мы говорим во время встреч? Болтаем обо всем на свете. Он широко информирован! Чем пилито?! Своих идей у него, конечно, нет. Чужих стихов не любит, но чтобы завидовать... Не он один только свои стихи считает настоящими стихами. А, плохо я гляжу: гримаса ненавистности. Все. Не буду смотреть знакомых. Верно. Когда он судит о чужих стихах, не строгость в его голосе, а ненавистничество. Выходит, я вроде бы слишком нетребователен, коль общаюсь... Ах, Виктор, Виктор! Проницательный, беспощадный разоблачитель! А ведь ничего подобного в его поэзии нет. В поэзии он лирик, эпик, а в скульптуре сатирик. Ну, не всегда. Но ведь вон она, дьявольская Барабулиха, вырезанная из соснового корня! Какая чудовищная мстительность в ее глазах. А руки что-то рвут, раздирают. Да ей все равно, что рвать и раздирать. Ей лишь бы принести зло. Вон у нее какое могучее правое плечо. Вместе с рукой это рычаг, способный совершать умопомрачительные злодеяния. Но почему-то я воспринимаю ее как явление физического палачества. А Гончарову она всего страшней духовно. Лада «Барабулиха» кончается у него словами: «Страшно. Думать мешает...» Рычаг злодеяний... Опять я как следует не рассмотрел. Рожато у Барабулихи полна ума, да такого каверзного, потаенного, что и не предусмотреть, откуда и как она сделает заход, чтобы усладить свою злокозненность. А еще страшней, и опять же в дереве, образ «Опустошенной». Любимой из нас встречал опустошенных людей, но никто, по крайней мере в скульптуре, не брались их изобразить. Природа опустошенности, как и всякого трагического явления, многосложна. Наверяд ли кому-то одному удастся постичь ее до конца. Глядя на «Опустошенную», понимаешь, что Гончаров изобразил не причину опустошенности, а результат. Все разнообразие чувств, которое когда-то выражало это лицо, накрыло одно-единственное выражение: духовной истребленности. Глаза уводят в бездну, где тьма и никакого смысла. Подходит Гончаров и рассказывает, как нашел полено с закрученными, будто водовороты, сучками. Благодаря этим сучкам, превращенным в глаза, и удалось вывить опустошенность. Я вспомнил фразу из лады «Опустошенная»: «Нет нутра у этого человека». Раньше во мне кружило несогласие: пока человек жив, он не лишен нутра, пусть и скудного, кажущегося бездонным. Тут я согласился с Гончаровым: в действительности оно, разумеется, так, но искусство создает свою действительность ради утверждения истинных идейно-нравственных цен-

ностей, а также ради бескомпромиссного негодования против чуждого духовного упадка.

Выдумка Виктора Гончарова столь неожиданная, что не перестаешь ей изумляться. Уезжая в командировку, он забыл вылить из кюветы проявитель. Проявитель высох. К дощечке пристали кристаллы. По ним Виктор Гончаров нарисовал портрет молодой женщины. Портрет был пастельный. В белоземной глубине нежно грустило голубое личико. Чем больше я стоял перед портретом, тем проникновенней воспринимал поэтичность этой женщины, как видно, испытавшей семейные невзгоды, раскаявшейся в своей опрометчивости, теперь счастливой, однако и по сей день переживающей прежнюю жизненную неудачу. Целые натуры страдают тяжело и длительно, и это передал Виктор Гончаров, как потом определилось для меня, когда слушал его рассказы об этой женщине.

Каких только лиц нет на планете! Бесконечность типажей, черт, гримов, выражений. Каким материалом воспользоваться, какие средства изобрести, чтобы изобразить хотя бы часть галактической туманности лиц? Меня всегда мучает это, а поиски неутомимы. А он нашел, он изображает звездные скопления человеческих лиц. Вот они под стеклом, на горизонтальном стенде, вырезанные на косточках—сливовых, абрикосовых, манго, на ореховых скорлупках, на речной морской гальке. Вглядываюсь. Ба, да здесь целая галерея характеров: идеалист, трубкакур, жуир, моралист, наущник, добросерд, хохмач, эхидна, страстотерпец, патетик, мечтатель, любомудр... И нет повторяющихся лиц, физиономий, рож, вывесок, будок... И легко уваливаешь расово-национальные признаки: славянские, восточные, негроидные, романские, семитские, монгольско-бурятские...

Он подарил мне вырезанного на сливовой косточке «Смеющегося скифа». И в самом деле круглолицый бородач смеялся! Были в его облике солнечность, простодушие, мощь. К сожалению, я потерял «Смеющегося скифа», но я и сейчас помню, как он смеется; и отношусь к нему как к славному человеку, жившему когда-то на земле, и впрямь жившему. Я убежден, что большое искусство имеет свойство волшебного преображения: оно обретает в нашей памяти подлинность живого, которое существует или недавно покинуло нас.

В Магнитогорск приезжал художник Михаил Рудаков. Я послал с ним в столицу камни горы Магнитной для Виктора Гончарова. Мой новый приезд в Москву совпал с днями, когда в зале на Беговой выставлялись скульптуры, живопись, графика Виктора Гончарова. Пожалуй, самое сильное впечатление на выставке производили работы, возникшие под огромным воздействием его поездки по Индии. Оказалось, что одним из камней, красным кармином, Виктор Гончаров написал на наждачной шкурке индийские пейзажи. Поразил меня деликий закат с двумя женщинами. И пламя заката, и женщины в красных сияющих сари, и пальмы над ними—все это было экзотически прекрасно, достоверно, поэтично. Специально подчеркнул, что индийские пейзажи и скульптуры Гончаров создавал по памяти. Я доверял его памяти: доводилось видеть, как он свободно на бумаге, в глине и дереве воспроизводил лица наших общих знакомых. Теперь, когда я сам побывал в Индии и смотрю на снимки его индийских скульптур: на «Индию», «Раджу», «Самосвятого», «Мать», «Торговца кокосовыми орехами», «Сатьявачану»,—я могу сказать, что они точно, глубоко, удивительно отражают образ, духовность, красоту и сложность этой замечательной страны. В том, что Гончарову прекрасно удалось изображение Индии, сказались его давний интерес к ее сказкам, эпосу, искусству, философии. «Торговца кокосовыми орехами» и «Сатьявачану» Виктор Гончаров создал из оболочки кокосовых орехов. В моем представлении эти скульптурные портреты всегда рядом. Рядом они находились на выставке, едины в ладе «Сатьявачана», потому что именно торговец кокосовыми орехами—старик с улыбкой, светящейся мудростью и чистотой, поведал Гончарову легенду о царе Индии Сатьявачане. Сатьявачана—правдивую речь ведущий. У него не было ни врагов, ни недругов. От своих подданных он не требовал преклонения, не ошибался, решая дела, не наказывал невинных, считал, что цель человеческой жизни не наслаждение и счастье, а знание и работа. Он ни разу не награждал недостойного и не нарушил своего обещания. Бог Яма осерчал, что Сатьявачана, становясь справедливее справедливого и честнее честного, все реже обращается к нему за советами. Осерчал и решил испытать его сердце, разум и душу—Яма ниспослал на Синдху (Индию) засуху, голод, неслыханные болезни. Орлы, дикие звери, крокодилы пожирали людей. Сатьявачана взмолился, и Яма посоветовал ему ради спасения народа: «...прикажи палачу отсечь тебе голову». Царь сказал сыну: «Будь беспощаден к себе и милостив к другим». И выполнил совет бога. Берег Ганга, где погребли голову царя, покрывшись необозримым лесом, на каждом дереве плоды, подобные человеческой голове. То были кокосовые орехи, они спасли народ Синдху. Старик из Бенареса заключил легенду ведами словами: «Слава тому, кто не пожалеет собственной головы ради спасения Родины». Тема самопожертвования во имя Отечества и гражданской доблести пронизывала творчество раннего Виктора Гончарова. Доказательство этому прежде всего поэма «Голубиная балка». Еще проникновенней он решал ее в последнее десятилетие. Кроме лады «Сатьявачана»,

он посвятил ей поэмы «Художник» и «Любчо Барымов». «Художник»—о комиссаре и живописце Андрее Горбатове из Дымска, спасшем дивный северорусский собор. Замечательно мастерство поэмы: чеканный белый стих, захватывающий сюжет, героические характеры отца и маленького сына, словесная изобразительность на грани материальности. «Любчо Барымов»—о племяннике Георгия Димитрова, растерзанном гитлеровскими палачами в тюремном застенке. Верность теме Родины, свою любовь к народному эпосу Виктор Гончаров подтвердил в поэме «За Русскую землю», написанной по мотивам «Слова о полку Игореве».

Весной прошлого года, приехав в Планерское, я застал там Виктора Гончарова. Как и он, я поселился в доме возле моря, откуда видны скалистый Кара-Даг и мыс Хамельон. Погода менялась неожиданно, яростными порывами: то жар, то снежный ветер из степного Крыма, то прозрачный до стеклянности воздух, то накатит с моря облачность, что и в полдень суеть в поселке. Но перепады погоды не могли отменить пробуждения земли. Цвели в обычной постепенности миндаль, медно-желтая магнолия, персики, мушкетерское дерево, тавариск, дрок, золотой дождь.

Почти каждое утро, поднявшись раньше всех (да и ложился он позже всех), Виктор Гончаров, перекосив туловище тяжеленным мольбертом, уходил работать. Он писал море, береговые обрывы, горные склоны, малиновые и желтые от горючих туман, белые спирали абрикосовых веток. После завтрака, едва я входил к нему, меня встречали новые этюды. Он не жалел грунтованный картон и свицовые тюбики с маслом. Ему посчастливилось ловко схватить пепельную дымку по-над Хамельоном, восходную оранжевую, бликующую на волнах, разноцветные глинисто-каменные осипы, и все-таки нам претила обыкновенность этих этюдов, а за счет этого—колористическая скука. Мы ждали открытий. Он маялся и тоже ждал от себя открытий. Мы посматривали с надеждой на этюд вечера, сделанный им в деревне под Вышим Волочком, и он посматривал. Чтобы не извернуться, взял рисовать портреты. И сразу удача: получился сосредоточенный на своих чувственных инженер-интеллектуал. После, осмелев, Гончаров написал портрет официантки. Была в нем аляповатость из-за поспешности, однако ее натуру он запечатлел дерзостью и назвал, не отряхаясь от правды: «Всегда безгрешная». Мы и думать не думали над нравственной опасностью и распространностью такого типа людей, а он заставил, и мы осознали, как многозначен этот тип и аморален. Потом были у него другие удачи, особенно свежо получались натюрморты. А когда он занялся скульптурой, мы совсем воспрянули духом: пошли отличные головы и барельефы. Больше других меня привлекал портрет физика, сработавшего свою внешность под Иисуса Христа.

Возвратясь в Москву, я не видел Виктора Гончарова до поздней осени. А как встретились, он обрадовал меня своим длительным путешествием по Сибири. Вот уж действительно искатель и непоседа. Бороздил Байкал, ходил по берегам Лены, облетал на вертолете Усть-Илим и, преодолев транспортные трудности, добрался до Звездного, который является одним из опорных пунктов Байкало-Амурской магистрали. Кстати, помог ему улететь из Усть-Кута в Звездный комсорг ЦК ВЛКСМ на БАМе Володя Давиченко, он же заместитель начальника этого железнодорожного строительства. Виктор Гончаров при всем своем доброжелательстве не спешит восторгаться восхищением: прекрасный организатор, чистый человек, верен слову и высоким комсомольским принципам, даже назвал его белорусским Че Геварой. Нет, не для пущей важности назвал. БАМ—не просто великое строительство, а строительство, требующее великой отдачи духовных и физических сил. По убеждению Виктора Гончарова, вчерашним десятиклассником там делать нечего. На БАМе необходимы сложившиеся, доблестные, много умеющие труженики. Только преодоление природных условий на строительстве требует громадной воли. Чтобы не пускаться в пространное пояснение, Гончаров показал мне кулаки своих рук. Они были испещрены свежими шрамами. Около часа писал подвесной мост через реку в Звездном—и вот след: неистовство тамашного гнуса. Я не мог этому не поверить—сам видел в Сибири, как взрослый мужчина из геодетической партии плакал и упал в траву: покамест он держит рейку, в его руки, лицо, шею вливаются рои паутов.

Сибирские этюды Гончарова, когда я их смотрел, радовали меня. Меньше в них жидкой синевы и свинцовости. Ярче цвет, потерялась робость перед тоновой контрастностью, не душат подробности. Простор, глушь, могучую красочность этой земли—все зацепил.

Но еще сильнее я радовался московским этюдам! Москву художники пишут мало. А если и пишут, то полотна их напоминают зачастую цветные открытки: такая гладкопись, такая зашампанованная звонкость цвета, что как-то мутно становится. А здесь, на гончаровских этюдах, наш прекрасный город не отчужден от тебя ни парадностью, ни чудовищной правильностью композиции, ни тоскливой прозрачностью неба. Здесь он по-домашнему близкий, простецкий, милый. Давно открыт секрет, что тот достигает в искусстве серьезных результа-

тов, кто необыкновенно запечатлел обычное, примелькавшееся. Красота Москвы начинается для Виктора Гончарова от крыльца его дома. Вышел из подъезда, посреди двора, на табурете, сидит пожилая женщина, написал ее со спины, склоненной над вязаньем, с отравой ощущающей теплоту утра, тишину и присутствие высокого дерева. Отсюда же написал квартал после дождя, сияние неба, раду. Мало-помалу осваивал округу, и появились новые этюды с двориком близ Большой Екатерининской улицы с улицей Щепкина, где в центре композиции радостно смотрится розовая фабрика, с храмом Трифона в Напрудном переулке, с площадью, ласково называемой москвичами Самотекой, с Делегатской улицей на рассвете... И все это была столица, которую почти не встречаешь на выставках и на которую я не мог смотреть без нежности. Удаляясь от дома, Гончаров не терял свежесть восприятия и тоже сочно, пастозно написал арочный мост над Яузой, порт на Москве-реке в Филах, Москву-реку под косягами у Коломенского, вид Кремля с Каменного моста, Соколиную башню в Николо-Карельском монастыре. Теперь ему удалось вода—зеленоватая, с пастельной мягкостью тона на Яузе, белая до магнитоковой ослепительности в Филах, и небо удавалось—тонко согрет полем оранжевого заката Андронников монастырь, вздыбленная облачность властно охвачена огромностью воздушного океана, что создает иллюзию того, будто ты сам стоишь на Каменном мосту, запрокинув голову, и смотришь.

Пикассо, давая характеристику своим творческим обретениям, применил парадокс на грани рекламной рисовки: «Я не иду. Я нахожу». У каждого художника, надо полагать, бывают моменты озарения, когда произведение создается взлест и без малейшей предварительной подготовки. Но зачастую отсутствие исканий лишь мнит-ся ему. Вулкан молчит, но в магме, пока она раскалена, непрерывно совершаются динамические, радиоактивные, термохимические процессы. Художник может не уваливать процессов, совершающихся в его подсознании, но это не значит, что их нет. И тем не менее его достижения являются нам как результат неустанного труда, а труд—он и есть универсальное средство для поисков и находок. В этой связи нельзя не подчеркнуть, что время накопления мастерства является и временем накопления исканий, а искания обладают способностью давать впечатляющие результаты.

Вдохновение и подвижнический труд Виктора Гончарова создали замечательные произведения. Я назвал несколько, потому и хотел бы сделать добавление, хотя я оно не охватит всех его достижений. Из скульптуры я отношусь к его шедеврам «Огонь», «Андрей Рублев», «Дочь ветра», «Андроникова в роли своей бабушки», «Палача», «Слепото гения», «Мать», «Ярославну», «Звездочку», из поэзии—лады «Портрет», «Конек удачи», «Нелегкие радости», «Живой камень», лирические стихотворения—«Жидкая стеклянная борода», «Мои одинокие нарты», «Сверчок», «Я рванул без стука двери», «Спасибо тебе», «Под дождевиком», из сказок и притч—«Мудрый слепой», «Жадный Залдар», «О Будде, бедняке и тайной полиции»...

А еще Виктор Гончаров—интересный прозаик, самобытный переводчик, талантливый оформитель собственных книг.

В записке к книге «След человеческий» Виктор Гончаров сопоставил свою работу с возведением моста над пропастью. Для возведения моста, как утверждал он, ему необходимы две опоры: русское народное творчество и общемировая культура. То было программное идейно-эстетическое заявление, помеченное 1966 годом, однако оно знаменовало не начало его приверженности к двум опорам, а подводило итог этой приверженности и утверждало ее как насущную, оправдавшую себя плодотворным опытом. Того, о чем заявил Гончаров, казалось достаточно, чтобы подвести итог совершенному и двигаться дальше. Но в том-то и дело, что свой мост он строил и продолжает строить на пяти опорах. Вот те опоры, о которых он умолчал, наверняка по стеснительности (вдруг да заподозрят в нескромности и гигантизме?!): природа, людская жизнь, лично-профессиональный опыт. Об этих трех опорах творчества Виктора Гончарова глубоко писал еще десятилетие тому назад Ираклий Андроников. Свое предисловие к альбому «Виктор Гончаров» он озаглавил «В союзе с самой природой». Слово «союз» тут не совсем точно. Оно сужает область скульптурного мастерства Виктора Гончарова и его сотворчество с природой, выражающееся в осмысленном высвобождении образов, создание которых природа не довершила. Для раскрытия опорного смысла «лично добытый профессиональный опыт» я воспользуюсь глубоким соображением Ираклия Андроникова, но мысленно распространю его на живопись и графику Виктора Гончарова: «Если хотите, все эти скульптуры можно было бы назвать творениями самоучки. Но только в той степени, в какой самоучкой является каждый настоящий художник, идущий вперед, открывающий то, чему его не научили и научить было некому».

Не удержусь от соблазна закончить свое эссе словами замечательного мастера прозы Всеволода Иванова: «Я рад, что к своим мучениям литературой Вы, Гончаров, присоединяете и живопись и скульптуру. Люди Возрождения так и жили».

Вы что же, хотите впутать меня в эту историю с мертвецом?

Он швырнул недокуренную сигарету в угол. Окурок подкатился под тонконогий столик, на котором лежал старинный альбом для фотографий, и оказался в опасной близости к комку бумаги. Мне это не понравилось: я пришел сюда вовсе не затем, чтобы тушить пожары. А еще больше мне не понравилась фраза о мертвце. И я шагнул к столику, намереваясь наступить на горящую сигарету и заодно полистать альбом, но из этого ничего не вышло. В моей голове вдруг что-то взорвалось, и я надолго провалился в мягкую ватную темноту...

Он швырнул сигарету, он встревожился, когда я заговорил об альбоме, этот молодой человек в синих джинсах и с локонами до плеч. Он был высок, тонок, немного женствен. Может, это локоны делали его таким. А может, он еще не успел оформиться в мужчину, хотя лет ему было уже за двадцать пять. Впрочем, это не мешало Вите Лютикову претендовать на звание современного Дюрера или Тициана. Я сразу смекнул, что имею дело с гением, хотя вообще-то до Вити Лютикова мне не доводилось общаться с гениями, бывать в их жилищах и мастерских. Гении обычно проходят по другим ведомствам. Кроме того, мне было известно, что наш Заозерск еще не явил миру ни Сурикова, ни Пикассо. Но вряд ли это обстоятельство следовало брать в расчет: гений мог родиться в любой момент. И кто знает, думал я, увидев последнее Витино творение, кто знает, может, он уже родился...

Называлась Витина картина несколько неожиданно: «Спроси ее». Сначала я даже не понял, кого нужно спрашивать, потому что увидел на полотне только веник, сляпанный из разноцветных пятен. Потом, приглядевшись, стал различать девицу. Посажена она была столь ловко, что я мог одновременно лицезреть ее улыбку анфас и тугую ситцевый зад. Загадочная поза не давала мне покоя до тех пор, пока я не сообразил, что художник заменил позвоночник девицы винтом и искусно задропировал его цветастым платьем. Витя снисходительно растолковал мне, что винт — это прогресс, движение вперед от той статичной мази, какой баловались разные назарейцы, кубисты и импрессионисты. Этот юноша бледный развернул передо мной потрясающую картину эволюции живописи от примитивного двухмерного пещерного рисунка к перспективе, пространству, а затем — ко времени. Винт в спине девицы, сказал Витя, и есть попытка всадить убегающее время в холст. Я понял, что Витя на четвертом измерении не остановится. В его, пользуясь словами поэта, горящем взоре пылали отблески вселенских катастроф.

И еще — тревога... Нет, я не хотел впутывать его в историю с мертвецом. Но повел себя неосторожно: повернулся спиной к двери тогда, когда этого делать не следовало. Конечно, всего не предусмотришь. Однако, как справедливо заметил мой начальник Бурмистров, мозги даны человеку, чтобы ими шевелить, а если я, Зыкин, воображаю, что это привилегия мыслителей, то тут я глубоко заблуждаюсь.

В чем-то он прав. Шорох за дверью я слышал, но его происхождение ассоциировалось у меня с Витиными домашними. Я не знал, что его родители уже несколько дней гостят у знакомых в соседнем городе. И потом меня отвлек альбом, этот толстый альбом, похожий на причудливую шкатулку или ларец. Четыре латунных шарика, хитроумно прилепленные по углам нижней крышки, играли роль ножек. В верхнюю крышку неизвестный мастер вмонтировал овальное стекло. Из-под него тарачил наивные карие глазенки пастушонок в нарядном зеленом кафтане и тирольской шляпе с пером. Переплет альбома был обтянут коричневой тисненой кожей, створки снабжены металлической пряжкой-застежкой, обрез позолочен. Этому альбому было, по-моему, лет сто, но выглядел он на удивление новеньким, словно время обошло его стороной.

Я смотрел на альбом, и мне что-то мерещилось. Что-то зыбкое, туманное, но определенно связанное с другим местом, с другой квартирой, в которой я был накануне визита к Вите, и с другим человеком.

Фамилия человека была Астахов. Родился он в Москве накануне Великой Отечественной войны, там же окончил художественное училище. В Заозерске Астахов несколько лет работал в театре, оттуда ушел ретушером в газету, а с год назад уволился из редакции и ударился в отхожий промысел — стал украшать колхозные клубы копиями полотен мастеров и панно собственного изготовления. Водились у него деньги, водились приятели, была женщина.

В пятницу, 17 мая, Астахов проводил свою возлюбленную в Крым. Лира Федоровна Наумова взяла очередной отпуск в музей, где работала младшим научным сотрудником, и отбыла в «Массандру». Субботу Астахов провел дома, а в воскресенье ушел куда-то с утра и вернулся лишь вечером. Вернулся вдрызг пьяным и из собственной постели без пересадки отправился на тот свет. Причиной смерти, как было сказано в заключении патологоанатома, явилось отрав-



Фамильная реликвия

Анатолий Жаренов известен читателям как автор увлекательных научно-фантастических и приключенческих повестей и романов «Частный случай», «Обратная теорема», «Парадокс великого Пта», «Яблоко Немезиды».

Рукопись повести «Фамильная реликвия» Анатолий Александрович передал редакции «Смены» незадолго до скоропостижной смерти. Публикуется ее журнальный вариант.

ИСТОРИЯ
ОДНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Анатолий ЖАРЕНОВ



Рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА

ление бытовым газом. В протоколе осмотра места происшествия указывалось, что «ручка правой горелки газовой плиты находится в положении «включено», что в том же положении «закреплено ручка духовки». Левая горелка была выключена, а на конфорке «обнаружен зеленый кофейник без крышки, покрытый коркой засохшей кофейной гущи». В переводе на обычный разговорный язык это могло означать, что пьяный Астахов пожелал вскипятить кофе, но не успел за ним. И когда жидкость полилась через край, он вместо того, чтобы снять кофейник с огня, принялся крутить ручки. И вертел их все подряд, пока огонь не погас. Затем лег спать, не заметив, что два крана на плите остались открытыми. Газ тек всю ночь, наполнив однокомнатную квартиру и где-то под утро потек на площадку. Жильцы всполошились часов в пять, опергруппа прибыла в половине шестого вслед за аварийной службой горгаза.

Несчастный случай. Никаких данных, опровергающих это предположение, эксперты не получили.

К трем часам дня астаховская квартира опустела. Уехали эксперты, фотограф и врач. Труп увезли еще раньше. Ушел Бурмистров. Мой начальник — принципиальный противник механизированного передвижения: машины пользуется лишь в исключительных случаях. Однако усиленные занятия ходьбой не помогают ему обрести спортивную форму. А может, он к этому и не стремится, не знаю.

Он ушел. В квартире остались мы со стажером Петей Саватеевым да еще понятия, томившиеся на стульях, стоящих рядом у стены. Я дождался возвращения следователя прокуратуры Лаврухина, который снимал показания с соседней Астахова. Петя вопросительным знаком торчал за моей спиной, рассуждая на тему: убийство — самоубийство — несчастный случай, и мешал мне думать о более приятных вещах. Меня мучил голод, а Петю комплекс Шерлока Холмса. Взаимопонимание было, таким образом, исключено. И Петя, сообразив это, удалился на кухню. Звонка он не услышал, и поэтому впустить в квартиру, а затем и в дело Валентину Григорьевну Цыбину судьба предоставила мне.

У Вали была фигурка гимнастки и прическа, о которой я не могу сказать ничего, кроме того, что она шла Вале. На ней было светлое платье неопределенного цвета, и оно тоже шло Вале. С ее плеча на длинном ремешке свисала черная сумка, формой своей напоминавшая месяц на ущербе.

Увидев меня, Валя сделала большие глаза, отступила на шаг и удивленно сказала:

— Простите, но я хотела бы видеть Николая Ивановича...

— Заходите, — предложил я. Она несмело переступила порог прихожей. Я провел ее в комнату и поинтересовался:

— А вы кем ему приходитеесь?

Понятия завозились на стульях. Из кухни выскочил Петя, Валя недоуменным взглядом обвела комнату, понятия, Петю, потом обратилась ко мне:

— Что здесь случилось?

— Вы не ответили на мой вопрос, — напомнил я.

— Что? — спросила она растерянно. — Что я не ответила?

Я повторил вопрос.

— Никем, — сказала Валя. — Никем я ему не прихожусь.

Просто мы знакомы с Лирой... И я... Простите, но вы так странно спрашиваете... И почему здесь все засыпано пудрой?

— Это не пудра, — возразил я. — Ответьте, пожалуйста, кто вы и зачем сюда пришли?

Она ответила. Она сказала, что работает завлитом в театре, что хорошо знакома с подругой Астахова Лирой Федоровной, что подруга два дня назад уехала в отпуск, а вчера, в воскресенье, ей позвонил Астахов и попросил зайти. Она назначили время, и вот...

— О чем он хотел говорить с вами?

— Не знаю. — Валя пожалала плечами. — Сказал, что ему со мной необходимо поговорить... И все...

Я посмотрел на нее в упор. Валя не смутилась.

— Н-да, — протянул я многозначительно. — Так мы ни до чего не договоримся...

Валя снова пожалала плечами и повернулась к дверям. Она явно не желала договариваться о чем-либо со мной. Но я не мог расстаться с ней так скоро.

— Подождите, — сказал я сердито. — Человек, которого вы хотели видеть, умер сегодня ночью...

— Умер? — повторила она недоуменно. — Как это — умер?

— Обычно, — буркнул я. — Умер.

— Ужасно, — сказала Валя. Теперь ей расхотелось уходить. Она села на стул и сложила руки на коленях. Она без запинки ответила на все мои вопросы. Она была на вокзале, когда Астахов провожал Лиру в Крым. Нет, она не заметила ничего странного. Астахов шутил, говорил, что скоро сам поедет в Крым. С вокзала Валя и Астахов уехали разными автобусами. Нет, они ни о чем серьезном не говорили. Звонок Астахова в воскресенье удивил Валию. Нет, она решительно не представляет, о чем хотел говорить с ней Николай Иванович.

— Мы ведь едва знакомы, — сказала Валя задумчиво.

— Кто еще провожал Лиру Федоровну?

— Никто...

Валины показания косвенно подтверждали версию о несчастном случае. Самоубийством, во всяком случае, в астаховской квартире не пахло. На инсценировку несчастного случая картина была не похожа. Но тем не менее в этой смерти была одна загадка, которую нам не удалось разгадать ни в тот день, ни в последующие: мы не смогли установить, с кем и где пил Астахов в воскресенье. Ответить же на этот вопрос было необходимо. Поэтому Лаврухин поручил мне заняться поисками таксиста, который привез Астахова домой. Найти шофера удалось довольно легко. Он рассказал, что взял Астахова на остановке возле ресторана «Центральный». Художник, по выражению водителя, «подошел на бровях», с трудом выговорил адрес и все пытался рассказать что-то смешное.

— Сильно косяк он был, — сказал водитель. — Старушку какую-то поминал. Не то пил он с этой старушкой, не то хоронил ее...

В ресторане я тоже узнал немного. Бородатый швейцар и гладкий, словно только что отупоженный метрдотель Астахова знали по прежним посещениям. Но вечером в воскресенье он в ресторане не появлялся.

— Утром был, — сказал метрдотель, — завтракал в обществе молодого человека, тоже художника. Сидели недолго, минут тридцать, спиртного на столе не было. Молодой человек ушел первым, Астахов — четверть часа спустя.

Да, на дорожке, которая привела меня утром во вторник к Вите Лютикову, не стояло никаких предупреждающих знаков. Некому было их поставить за ночь. Валя Цыбина, впрочем, могла бы это сделать. Но она не захотела...

Новый Пикассо жил на иждивении папы-бухгалтера и мамы-экономиста в довольно милом особнячке на окраине Заозерска. Чадолубиные родители отдали ему под мастерскую крытую веранду позади дома. Предварительно ее слегка переделали: часть крыши и стена, выходящая в сад, были застеклены.

На веранду можно было попасть как из комнат, так и со двора. Я пришел со двора, не заходя в дом. Витя стоял перед мольбертом, раздвинув ноги циркулем, и мыслил. Мое появление было встречено без энтузиазма, поэтому, чтобы создать дружественную атмосферу и достигнуть взаимопонимания, я начал разговор издалека, с пристроенных фраз об искусстве и о жизни вообще. Пока предметом обсуждения была девица с винтом и живопись четырех измерений, Витя вел себя снисходительно-величаво. Он крепко верил в свое предназначение. Он был чужд сомнений, но в мою задачу и не входило поселять их в Витиной душе; я пришел к нему затем, чтобы задать несколько вопросов, не имеющих отношения к искусству, и не ждал никаких сюрпризов, называя Вите фамилию Астахова. Не ждал и поэтому чуть-чуть растерялся, когда он швырнул сигарету под столик...

Он швырнул сигарету, а у меня в голове что-то взорвалось, и я надолго провалился в мягкую ватную темноту...

Когда я открыл глаза, то увидел расчерченное в крупную клетку голубое майское небо. В голове не меньше сотни гномиков стучали молоточками по звонким наковальням.

Попытка поднять голову и оглядеться не удалась: гномики, засевшие в башке, сразу осатанели. Я подтянул ставшее непомерно тяжелым тело к стене, оперся на нее спиной. Сидеть так было неудобно, но встать на ноги не хватило сил.

Наконец гномики немного притихли. Только в затылке осталась тупая ноющая боль, да по шее ползло что-то липкое и теплое. Я уже знал, что.

Я подтянулся повыше и, цепляясь руками за стену, встал на ноги. Голова кружилась, но на ногах я почувствовал себя увереннее. Я взглянул на столик. Альбома там не было.

Вторичного нападения вряд ли можно было ожидать, все плохое, что могло случиться со мной в этом доме, уже случилось. Это чертовски неприятно, когда тебя ни с того ни с сего лупят по голове. Но еще неприятнее сознавать, что ты что-то прогляпал. Пока я знал только одно: я прогляпал человека за дверью.

Я постоял минуту, прислушиваясь к тишине и соображая, что делать дальше. Машинально открыл дверь, ведущую в дом. О Вите я в этот момент не думал. А он был тут, совсем рядом. Несостоявшийся Пикассо лежал навзничь посреди комнаты, служившей, вероятно, гостиной, — лежал, раскинув руки и разметав русые локоны по желтому полу. Я подцепил Витину руку у запястья. Пульса не было. Заглянув ему в глаза,

я понял, что дело дрянь, что Витя уже пересек ту границу, около которой я только что побывал.

Я вышел на крыльцо. Улочка выглядела пустынной. В пыли, на самой дороге, нежались куры, разомлевшие от жары. В доме напротив чернявый мужичок средних лет прилаживал оконную раму. Он охотно откликнулся на мой призыв и, загребая пыль сапогами, перебрался через дорогу. Окнув меня подозрительным взглядом, мужичок собрался было потолковать на отвлеченные темы, но я был к этому не расположен и, показав ему удостоверение, спросил, где ближайший телефон. Мужик ткнул растопыренной пятерней в конец улицы.

— Это что же выходит? — осведомился он, рассматривая меня.

— Уже вышло, — сказал я. — Ты понял, что нужно сделать?

— Напиши номер, — сказал он. — А то еще забуду ненароком.

Я нацарапал номер на клочке от пачки сигарет.

— Скажешь, Зыкин ждет... Скажешь, что все очень серьезно... Скажешь...

— Ладно, — буркнул чернявый. — Скажу уж...

— Ни с кем не болтай, — предупредил я. — Позвонишь, сразу шагай обратно. Разговор к тебе есть...

Он ушел, а я стал думать, как ко всему этому отнесется Бурмистров. От него не отобьешься лукавой фразочкой о том, что от случайности никто не застрахован. Странно, что я об этом думал в то самое время, когда за спиной у меня лежал мертвый Витя Лютиков. Странно, но я думал об этом. И еще об альбоме. Я вспомнил, что мне мерещилось, когда я смотрел на этот альбом. В квартире Астахова на прикроватной тумбе валялась раскрытая книжка в черном коленкорном переплете. Старинная книжка с оторванным титульным листом. Неизвестный мне автор повествовал о приключениях какого-то капитана Хватова, который шлялся по городам и всяем далекой Индии в паре с ручным гепардом и не то искал, не то старался забыть свою возлюбленную. Ни капитан Хватов, ни его гепард явно не стыковались с тем, что произошло в квартире Астахова. А вот книжка и альбом стыковались. В книжке вместо закладки лежала фотография с картонной подложкой. С фото смотрела красивая женщина, а надпись на подложке извещала, что дама эта снималась в фотографии В. Е. Коркина в С.-Петербурге, на Невском проспекте.

Увидев альбом, я подумал о фотографии...

Мужичок вернулся минут через десять.

— Ты не заметил, — спросил я, — кто выходил отсюда?

— Работал я, — сказал он, подумав. — Но вроде девка какая-то выбежала.

— Давно?

— Да, может, с час будет. Или меньше чуток... Работал я...

— Ты вспомни хорошенько, — попросил я. — Может, знаешь ее... Нужно это, понимаешь?

— Чего ж не понять. Только не глядел я... Пробежало что-то, это верно, помню. А знаю — не знаю, этого не скажу. Ходят к нему всякие. И девки, бывает, ночуют.

Он помолчал, потом спросил осторожно:

— Можно, я на Витьку погляжу?

— Наглядишься еще, — сказал я. — Родителей его знаешь?

— Здравоваемся... Люди как люди. Без рогов...

— Давно они тут?

— Годов двадцать. Витьку-то, покойника, я вот таким помню.

Он показал рукой, каким он помнит Витьку. Отзывался он о Витьке как-то пренебрежительно.

— Тебе, я смотрю, парень не сильно нравился...

— Нехорошо, конечно, про мертвого, — сказал он задумчиво. — Но струи в нем не было. Я вот, к примеру, знаю, что ежели дом леплю, так он и мне и детям моим нужен. А Витька как цветочек рос. Ты меня понимаешь, инспектор?

— Не так чтобы, — признался я.

— С капустой вот такое случается. Кочан не завяжется — она и поперет в лист... Точь-в-точь как волосатики нынешние. Все у них в волос уходит, все соки. Потому и худые. Замечал, поди?..

Я усмехнулся.

— Значит, по-моему, Витя в лист рос?

— Ну да. Не пойму только, почему убили его... За так ведь не убивают.

— Бывает и за так, — сказал я.

— На улице бывает, в дрянь пьяной тоже. А тут его, видать, кокнули с соображением, потому что и тебе заодно приложили. Выходит, запутался в чем-то Витька.

Хитрый мужичок от рассуждений незаметно подкрался к вопросам. А Витю он, кажется, понимал. Его слова не противоречили моим мимолетным впечатлениям. И в то же время... «За так не убивают»...

— Про девку не вспомнил? — поинтересовался я.

— Работал я, — сказал мужик сердито. — Леший ее вспомнит... Может, то и не девка была, а вовсе парень...

Он замолчал. В конце улицы показалась машина. Гномики в моей башке стучали молоточками.

Производственная травма оказалась не настолько серьезной, чтобы надолго вывести меня из строя. Но несколько дней я все-таки провалялся в постели. Другая, как пишется в романах, навещали меня, приносили на хвостах служебные новости и кулечки с лакомствами. Жена ухаживала за мной, поила чаем и вела разговоры о разводе. Она говорила, что ее утомляет жить рядом с опасностью. Мы мило препирались, а в перерывах я читал научно-фантастическую книжку, где

герой последовательно превращался из мужчины в женщину, а потом снова в мужчину.

Наконец, все это мне надоело: и беседы о разводе и научная фантастика. Дождавшись в одно прекрасное утро ухода жены, я выбрался из постели и с помощью двух зеркал изучил свой затылок. Царапина на шее подсохла, а небольшая припухлость под волосами была почти незаметна. Били меня неким эластичным предметом, а рану на шее я заработал, уже падая на пол,—ударился об угол столика.

Криминалистическая экспертиза мало что дала. Следов разных — мужских и женских — в доме Лютиковых было навалом. Отпечатков пальцев куча. Но какие из них принадлежали убийце, и принадлежали ли — поди разберись. Ко всему прочему альтернатива — «парень или девка». Черный мужичок запутался окончательно, а других очевидцев найти не удалось.

В распоряжении следствия оказался некий загадочный предмет — маленький золотой кружочек, на котором с одной стороны был изображен воин с копьем, а на другой выцаралана надпись: «С любовью А. В.». Кружляшок этот выпал из кармана Витных джинсов, но имел ли он какое-нибудь отношение к делу или нет, можно было только гадать. Лаврухин проконсультировался у директора местного музея Максима Петровича Сикорского. Золотая бляшка на языке археологов называлась брактеем и представляла собой односторонний отчеканенный диск с монеты согдийских времен. Такие отчеканенные находки при раскопках могил зороастрийцев, манихейцев и прочих сектантов доисламского периода. Находят их в оссуариях, глиняных сосудах, куда эти самые зороастрийцы складывали косточки своих дорогих покойничков.

Сообщив Лаврухину эти сведения и заметив попутно, что в фондах заозерского музея ни оссуариев, ни брактеев не имелось, Сикорский удалился восвояси. Петя Саватеев, присутствовавший при разговоре, немедленно заявил, что он готов лететь в Среднюю Азию, чтобы лично переворачивать могильники древнего Пенджикента, а заодно все музеи Таджикистана, Туркмени и Узбекистана. Но Лаврухин холодно отверг Петину начинание, и Петя обиделся. С этой обидой, прикупив к ней коробку мармелада, он и явился ко мне. «Юмор какой-то,—сказал он, разрывая ленточку на коробке.—Ежу понятно, что золотишко краденое. Старик не желает понимать очевидные вещи».

Он ждал сочувствия. Он его не дождался, хотя и съел весь мармелад. Поняв, что разговора о вещах очевидных у нас не получится, Петя перешел к вещам менее очевидным и попытался дедуктивно разрешить вопрос: почему меня стукнули один раз, а Витю изломали до смерти? «Тут обязательно должен быть смысл»,—говорил он, округляя свои карие, как у пастушка на альбоме, глаза.

Проводив Петю, я подумал, что пора выздоравливать.

Бурмистров критически оглядел меня:

— Закрыв больничный?

Я кивнул и присел на свой любимый стул у окна. В кабинет пыла совсем не майская жара с запахами бензина и расплавленного асфальта. Внизу, под окном, чихал и плевался мотор катка: заозерский горкомхоз торопился отпарпортовать об успешно завершении месячника по благоустройству. В чадном скверике напротив управления мальчишки играли с лопухим щенком. Неподадалеку от них скучала на зеленом сундучке мороженщица в белом халатике. Вдали, за деревьями, золотились луковички церковей.

— Надумал что-нибудь, пока лежал?

— Саватеев надумал,—сказал я.— Сожалеет, что меня не прикончили.

Бурмистров покосился на меня и посоветовал не тянуть с рапортом.

— Оправдываться можно?—спросил я.

— В разумных пределах.

Лицо у него было в этот момент кислое, и я подумал, что неприятности не закончились для меня ударом по голове. Так оно и вышло. То, что произошло со мной в Витиной мастерской, выходило за рамки его понимания, и он сообщил это мне в подобающих случаю выражениях, а потом снова спросил, что же все-таки я надумал, пока лежал. Я промямлил что-то насчет альбома и той фотографии, которую мы обнаружили в квартире Астахова. Бурмистров прищурился.

— И что же?—спросил он.

Я закурил губу и посмотрел в окно. Мотор внизу чихнул в последний раз и заглох. Чубатому мотористу надоело, видимо, возиться с упрым механизмом, и он, вытерев руки ветошью, вразвалку двинулся через улицу в сквер. Там бухнулся на траву возле продавщицы мороженого, и они весело заговорили. Слов я не слышал, но догадаться, о чем разговор, было нетрудно: в сквере расцветала любовь.

— И что же?—повторил Бурмистров.

— Ничего,—сказал я, отворачиваясь от окна.— Альбом перекопал от Астахова к Лютикову, а третье лицо...

— Ну, ну,—буркнул Бурмистров не то поощрительно, не то иронически,— и третье лицо...

— Похоже на шантаж,—сказал я, подумав.

— Н-да,—протянул Бурмистров.— Немного... Тобой, между прочим, Лаврухин сегодня интересовался. Жить, говорит, без Зыкина не могу. Я ему Петра придал, а он говорит — мало. Девушка у него на примете есть, твоя знакомая, кстати... Нет желаний прогуляться на свидание?

И я пошел на свидание. Я прошел через сквер мимо синего комбинезона и белого халатика. Они нахально обнимались. Под навесом на автобусной остановке томился Петя Саватеев. Увидев меня, он страшно обрадовался и опрокинул на

мою многострадальную голову целый ушат новых умозаключений. Петя ехал на почту, чтобы потолковать там об отце той самой Леры Федоровны, которая за два дня до гибели Астахова отправилась отдыхать в «Массандру». Поскольку эта музейная дама оказывалась важной свидетельницей, в Ялту был послан запрос. Ответ был таким, что... В общем выяснилось, что Лера Федоровна уехала из Ялты, не прожив в «Массандре» и одного дня. Прибыла она туда утром в понедельник, а вечером вызвала такси и покинула город. Шофера разыскала ялтинская милиция. Он сказал, что метра в трехстах от «Массандры» в машину сел еще пассажир, худощавый брюнет среднего роста. Остановить машину попросила сама женщина, когда увидела этого человека. Высадились они в Симферополе, на вокзале. А на столике в палате, отведенной Лере Федоровне, лежала телеграмма, текст которой таков:

ЗАОЗЕРСКА — ЯЛТА НАУМОВОЙ — ВОЗВРАЩАЙСЯ НИКОЛАЙ УМЕР — КАЗАКОВ.

Но она в Заозерск не возвратилась. Астахова хоронили без нее.

С телеграммой же выходило вообще черт знает что. В ней было обозначено время отправления: понедельник, три часа дня. Получалось, что в три часа дня папа Леры — Федор Васильевич Казаков — уже был осведомлен о смерти Астахова. Я в это время впускал в астаховскую квартиру Валю Цыбину, а Казаков отправлял телеграмму дочке, по мужу — Наумовой. Заозерск не какой-то там заштатный поселок, в котором новости разносятся чуть ли не мгновенно. Заозерск — город с трехсотпятидесятью тысячью населением. Выходит, кто-то поспешил известить Казакова о смерти Астахова. Петя Саватеев на этот счет придерживался особому мнению, но его предположение о том, что «сам Казаков свободно мог...», было черес-чур смелым и скоропалительным. Об этом я и сказал Пете на автобусной остановке.

Петя уехал. Я постоял с минуту, раздумывая, ждать автобуса или нет. И пошел пешком. Улица вывела меня к парку. Отсюда я поднялся по широкой лестнице на Театральную площадь.

На просторной площади, кроме массивной глыбы театра, стояло еще одно сооружение — стеклянный кубик кафе «Космос». Гора, правда, была не столь высока, чтобы человек мог ощутить прикосновение к космосу, но обзор с нее открывался прекрасный. Заозерск с Театральной площади просматривался насквозь. Старая часть города летом тонула в зелени, новая выставляла напоказ длинный проспект с магазинами, ателье и киосками.

Я свернул к «Космосу» и нажал локтем на стеклянную дверь. Посетителей в кафе было немного. А очередь двигалась медленно: юная кассирша путалась в ценнике, и у меня было время кое-о чем поразмыслить. Думал я о предстоящем свидании с Валей Цыбиной. Она оказалась не только подружкой Леры Федоровны, но и приятельницей Вити Лютикова. Наткнувшись на это обстоятельство, Лаврухин счел необходимым побеседовать с Валей. Разговор был долгим, но не принес удовлетворения ни следователю, ни свидетелю. Валя была расстроена, отвечала на вопросы вяло и неохотно и решительно ничем не помогла следствию. Тем не менее в деле появилась одна маленькая подробность. Валя отсутствовала на работе, когда случилось прискорбное происшествие в мастерской Вити Лютикова. Лаврухин она сказала, что бегала в эти часы в магазин за какими-то модными колготками. Когда она ушла, Лаврухин поднял трубку и позвонил в магазин. Ему сказали, что модные колготки были проданы тремя днями раньше. Он собрался было вызвать Валю снова, но тут вдруг выскочила эта история с телеграммой, и Лаврухину пришлось срочно заняться папой Леры Федоровны. Папа — актер на пенсии, бывший комик, а теперь просто старый, толстый мужчина с одышкой и склеротическим румянцем на дряблых щеках — прочитал текст телеграммы дважды, пожал плечами и сообщил Лаврухину, что никакого отношения к этой телеграмме он, Казаков, не имеет, что покойника, которого зовут Николай, не знает и о пребывании своей дочери в «Массандре» не осведомлен. «У Леры давно своя жизнь», — сказал он Лаврухину и добавил, что последний раз виделся с дочкой чуть ли не год назад. «Что ж так?» — полюбопытствовал Лаврухин. «Да так уж», — сказал папа, вздохнув. Папа вышел из кабинета, задумчиво помахивая тяжелой тростью с резиновым набалдашником, одного взгляда на которую нашему Пете оказалось достаточно для того, чтобы прийти к мысли о том, что «сам Казаков свободно мог...». Лаврухина же трость не занимала, его интересовала телеграмма, и он попросил Бурмистрова направить Петю на почту...

Я был уполномочен повидаться с Валей.

Она пришла, когда я выбивал гуляш и кофе. Платье на ней было другое, сумка та же. Она узнала меня и коротко кивнула. Я галантно осведомился, что желает заказать дама. Она пожелала куриный бульон, гуляш и компот. Пока мы таскали на пластиковый столик тарелки, я разглядывал Валю и нашел, что со дня нашей встречи в ее обилии произошли кое-какие перемены. Лицо стало суше, голубые глаза словно бы потемнели. Она молча ела бульон. Без аппетита ела. Потом отодвинула тарелку и спросила:

— Скажите, зачем вам нужен какой-то альбом?

Я чуть не выронил вилку.

— Альбом?

— Я так понял, что вас интересует альбом. А мне ужасно надоели эти глупые вопросы-допросы.

— С чего вы взяли, что меня интересует альбом?

— Не вас лично, а вообще.— Она пожала плечами.— Кто-то мне звонил от вас. Вчера...

Я ошеломленно глядел на нее. Того, о чем она говорила, не должно было быть. Звонить ей от нас никто не мог.

— Вопросы-допросы,— повторила Валя, принимаясь за гуляш.— Что он говорил мне об альбоме, о каком альбоме, почему об альбоме?

Она задала еще пяток недоуменных вопросов, в которых повторялось слово «альбом». Существо же дела было в том, что вчера ей позвонили из милиции и попросили уточнить, что конкретно говорил ей Витя о старинном альбоме для фотографий. Человек, который звонил Вале, подчеркнул, что это крайне важно.

— Это действительно важно,— сказал я.— Надеюсь, вы... Валя дернула плечиком.

— Я просто положила трубку.

— Не сообщив ничего?

— А что я могла сказать? Что в жизни не видела никакого альбома? Поймет и так...

— Я в этом не уверен.

— В чем?— вяло заинтересовалась Валя.

— В том, что вас поняли правильно. Следовало ответить.

— Вот я и ответила... Вам... Сейчас.

Чудной это был разговор. Мы вроде бы понимали друг друга, хотя и говорили о разных вещах. Я думал о том, что если она говорит правду, то ее еще ждут неприятности. Кому-то здорово не хотелось, чтобы этот альбом ходил по рукам, чтобы в него заглядывали чужие, любопытные глаза. И, может, прав умный мальчик Петя Саватеев, ища смысла в ответе на вопрос, почему меня не прикончили? Было над чем задуматься...

О чем думала Валя, я не знал. Скорее всего она решила поставить под нашей беседой точку, потому что, порывшись в сумочке, вытащила рублевку и положила ее на край стола.

— Благодарю,— сказала она, поднимаясь.— Вы платили, а я не люблю ходить в должниках.

— Я тоже,— сказал я, выгребая из кармана мелочь.— Подождите, сейчас получите сдачу.

Я положил рядом с рублем двугривенный, а монетку-двушку всунул в теплый Валин кулачок. Потом, отвечая на ее удивленный взгляд, указал на телефон, висящий в углу. И сказал, глянув в красивые синие глаза:

— Позвоните к себе на службу. Скажите, что задержитесь. У вас, по-моему, не строго с табельным учетом. Придумайте какой-нибудь предлог. Ну, допустим, чулки дефицитные в продажу выбросили...

Вздрыгнула она при упоминании о чулках или мне это только показалось?

Мы успели уже порядочно отойти от кафе, когда у меня в голове забрезжила мысляшка: а почему, собственно? Почему этот охотник за альбомом с таким запозданием решил проверять степень Валиной осведомленности? Вале я верил: звонок был. Но почему только вчера, почему не неделю назад?

Тут я сказал себе «стоп». Я сказал себе «стоп», а поскольку мы с Валей подошли в это время к полосатой скамейке, то я сказал «стоп» и Вале. Слова при этом были произнесены другие, но суть не изменилась: мы сели. Валя расправила платье на коленях, я вытащил сигарету, и мы с минуту помолчали. Валя задумчиво смотрела на озеро, а я курил, ожидая, когда она соберется с мыслями. По дороге к скамейке мы успели кое-о чем побеседовать, и я не могу сказать, что это был легкий разговор. Валя упрямо уходила от ответов на вопросы, которые я ей задавал. К скамейке мы подошли, крайне недовольные друг другом, и со стороны, наверное, были похожи на поссорившихся влюбленных.

— Не понимаю,— сказала она, когда молчать стало уже неприлично.— Чего вы от меня хотите?

— Правды. Были вы у Лютикова в понедельник?

— Нет. Я же твержу вам это целый час.

Она преувеличивала: разговаривали мы всего минут тридцать, включая обед. Но я не стал спорить. Не люблю спорить с женщинами, когда они неправы. Из таких споров выходишь обычно измученным. И я осторожно подкатил к Валиным ногам шар, на котором было начертано имя Леры Федоровны Наумовой.

— Папа у нее с приветом,— сообщила Валя.— По паспорту еще смешнее: не Лира, а Велира. Означает — Величие Разума. Но в конце концов ко всему привыкаешь.

— Это верно,— согласился я.— А как вы подружились с Лирой? Она намного старше вас.

— Только на семь лет. Да и не дружим мы. Просто у нас с ней часто совпадают оценки, взгляды... А это что — тоже вопрос?

— Если хотите, да, вопрос,— сказал я честно.

Она пощелкала замком сумки и бросила на меня косой взгляд. Потом она говорила о Лире. Говорила осторожно, выбирая выражения. Познакомилась с Лирой с год назад. Лира тогда была замужем. Жили они в доме родителей Леры, пока не поссорились. Это случилось вскоре после знакомства Вали с Лирой. Ссора была похожа на взрыв: переругались все. Муж поцаловал с женой, жена с родителями. Муж умчался куда-то в Караганду, а Лира перебралась к Вале. О причинах скандала она не распространялась. Валя на открытость не навязывалась, поэтому, в чем там было дело, не знает. У Вали Лира жила с полгода, потом появилась Астахов. Она ушла к нему, но почти все свои вещи оставила на квартире у Вали.

— Странно,— заметил я, вспомнив, что задавался уже подобным вопросом на квартире Астахова.

Все мы задавались этим вопросом — и Бурмистров, и Лаврухин, и я. Ничто в астаховской квартире не говорило о том, что здесь живет женщина. Кто-то из соседок назвал тогда Лиру «приходящей любовницей». Бурмистров по этому поводу съязвил: «Времена меняются — приходящую любовницу ныне найти легче, чем приходящую домработницу».

— У вас неприятная манера допрашивать, — сказала Валя. — Слово вы хотите...

— Да, — подбодрил я ее. — Слово я хочу...

— Это некрасиво, — сказала Валя. — Вы все пачкаете своими прикосновениями. Все...

— А убивать красиво? — спросил я сердито. — Выгораживать убийцу — красиво?

— Выгораживать? Как вам не стыдно?...

— Стыдно должно быть вам. Вы с самого начала вводите следствие в заблуждение. Зачем вы солгали Лаврухину про колготки? Почему не сказали честно: да, я была в понедельник у Лютикова, да, я сказала ему про Астахова... Почему?

Я заставил Валю признаться в том, что она-таки навещала Витю Лютикова в понедельник. Да, Валя рассказала Вите про смерть Астахова. Витя был поражен, долго молчал, словно обдумывая что-то, потом сказал: «Лучше бы ты туда не ходила». Валя удивилась, но Витя ничего не стал объяснять. Они поужинали. Часов в восемь Витя хлопнул себя по карманам и, сказав, что у него кончились сигареты, побежал в магазин. Вернулся минут через тридцать, был явно чем-то доволен и все время повторял: «Надо же так». От Валиных вопросов отмахивался, обещал рассказать обо всем позднее. Утром во вторник она ушла от него, так и не узнав ничего.

— Когда вы вышли из дома?

— В десять. И опоздала на работу.

Опоздала и придумала сказку про чулки. И повторила ее Лаврухину. Как все просто. Ушла от Вити в десять, а минут через пятнадцать после ее ухода к Вите пришел я. Где же находился в это время чернявый мужичок? Работал? Меня он проглядел. Но Валю-то наверняка заметил...

— Вы никого не встретили на улице?

— Я ушла через мастерскую. В саду есть тропинка... Тропинка и выбрала дорогу покороче.

Так... Но кто-то мимо мужичка протопал. Ясно не было. Побулавшись даже, если принять на веру слова мужичка о девке, которая вроде мимо него пробегала. Валю он не мог видеть: она выбрала тропинку покороче... Все мы выбираем тропинки покороче. Тропинки, которые ведут к цели. Где же моя тропинка?

— Альбома вы не видели?

— Господи, опять этот альбом...

А ведь альбом был. В десять пятнадцать он лежал на столике. В десять, когда уходила Валя, его не было. Кто его принес в эти пятнадцать минут? Может, девчонка, которую видел мужичок. А унес убийца? А может, убийца и принес его, а увидев меня, спрятался за дверью. И можно ли верить Вале? Единжды солгавши...

Надо бы ее порасспросить про Витю... «Лучше бы ты к нему не ходила», — сказал Витя своей подруге накануне того злополучного вторника. «Вы что же, хотите впутать меня в эту историю с мертвецом?» — сказал мне он утром. А мужичок-философ заметил: «За так не убивают». За что же убивают?

— В музее, — рассказывала Валя, — Астахов подрядил что-то рисовать. Ходил туда каждый день. Лира им увлеклась...

Увлёклась, но вещи свои предусмотрительно хранила у подруги. И, уезжая в отпуск, не оставила в астаховской квартире даже сломанной расчески. Да, эти двое, видимо, не собирались вить гнездо...

— Как Витя относился к Астахову?

— Никак...

У них не совпадали взгляды на искусство. Витя считал Астахова типичным халтурщиком. Держались они как мало-знакомые люди, встречались крайне редко. Ничто их не связывало... Но в воскресенье они завтракали вместе в ресторане... И в воскресенье Астахов позвонил Вале и попросил ее о встрече... Что же он хотел ей сказать?

— Не знаю, — сказала Валя. — Помню: была удивлена. Он никогда не звонил мне...

— Как это выглядело?

— Что?

— Его слова...

— Слова? — Она задумалась. — Он извинился, потом сказал... Сказал, что Лира забыла передать ему какое-то письмо...

— Вы мне об этом не говорили.

— Мне нечего было сказать. Никакого письма я не нашла. Об этом я и хотела сказать, когда пришла к Николаю Ивановичу. А там были только вы...

— Он что же, просил вас принести ему это письмо?

— Нет. Николай Иванович сказал, чтобы я поискала письмо... Какое-то старое письмо или записка. Он сказал, что ее очень важно сохранить...

— Он не говорил, чье это письмо?

— Нет. Дал только понять, что ни к нему, ни к Лире письмо не имеет отношения. «Найдите его, Валя», — сказал он, — и успокойте меня. Письмо надо обязательно сохранить до приезда Леры». Я обещала сделать это и спросила, куда ему позвонить. Он сказал, что позвонит мне сам, но в понедельник у меня был выходной. Я ему сказала об этом. Он подумал и спросил: «А ко мне вы не сможете зайти?»

— Весьма странная просьба, — буркнул я. Валя согласно кивнула.

— Тогда я так не думала. Но вы сказали, что я выгораживаю убийцу, и я поняла, что должна рассказать...

— Вите вы говорили об этом?

Она покачала головой.

— Нет. Я ведь не нашла письма. И потом... Витя мог неправильно понять меня...

— Он ревновал вас к Астахову?

— Не к Астахову... Но вообще... Понимаете?

У наших ног плескалось озеро. Мелкие волны набегали на песчаный пляж и откатывались назад, оставляя после себя лишь пенные брызги и мокрую полосу. Откуда бежали волны, из какой глубины? В детстве мне наше озеро казалось бездонным. Но в детстве ведь и пять метров — неизмеримая глубина.

Я не стал провожать Валю. Она была достаточно взрослой, чтобы найти дорогу самой. Кроме того, я чувствовал, что мое общество ей изрядно надоело: все хорошо в меру. Мы и так о многом переговорили, коснулись даже нумизматики, потому

что я вспомнил о брактеате, который был найден в кармане Витиных джинсов. Сам Витя, по словам Вале, нумизматикой не увлекался. А вот бывший муж Леры Федоровны был любителем. Лира сама как-то говорила Вале об этом. Меня тут же осенила гениальная мысль: я вспомнил художца-бронета из Ялты. Но Валя сказала, что Василий Петрович Наумов скорее толстый, чем худой, и не бронет, а шатен... Астахов нумизматикой не увлекался. Зато Астаховым увлекалась Лира Федоровна... А Лирой Федоровной, по слухам, увлекался директор музея Максим Петрович Сикорский. Валя его никогда не видела, но Лира говорила...

Я тоже не встречался с Максимом Петровичем Сикорским. Но я подумал, что он, наверное, большой специалист, раз ему удалось с первого взгляда назвать тот самый кругляшок брактеатом, и не только назвать, но и сообщить целую кучу интересных сведений об этой вещичке.

Когда мне было лет четырнадцать, в нашем музее были экспозиции «Природа нашего края» и «Стоянка первобытного человека на озере Дальнем». Стоянка, помню, будоражила наши мальчишеские умы, нам импонировало семейство обезьяноподобных неандертальцев, сидевших вокруг костра и обсуждавших, вероятно, подробности последней охоты на мамонта. Мы тоже были не прочь поохотиться на мамонта, но еще нам хотелось завладеть кремневым ножом, который лежал возле костра. Однако старичок-директор был бдительным человеком и повесил на витрину довольно увесистый замок. Нам это не понравилось, мы возненавидели старичка и решили ему насолить. Месть была изощренной: мы набрали в известковом карьере с десяток каменных плиток, нацарапали на них загадочные рисунки, вымочили плитки в воде, высушили и торжественно поднесли старичку, заметив вскозь, что нашли камни в том самом стойбище на озере Дальнем. Старичок засуетился, записал нас в друзья музея, а плитки выставил, снабдив табличкой «Письменность первобытного человека». Мы упивались какое-то время своей изысканной мостью, мы ждали каких-то событий, но ничего не происходило: фальсификацию никто не заметил. Может, потому, что уж очень грубой она была, а может, потому, что в те первые послевоенные годы горожан мало занимали музейные дела. Да и мы сами вскоре забыли об этом...

Неисповедимы пути ассоциации, что бы там ни говорили психологи. Какие снылись замкнулись вдруг в моем мозгу? Почему потускнели и отделились воспоминания о золотой мальчишеской поре, а на смену им выплыло нечто совсем другое, никакого решительно отношения не имеющее ни к моим воспоминаниям, ни к разговору с Вале? Не знаю. Однако выплыло. Выплыло медицинское заключение о смерти Астахова, в котором фигурировало словечко «ром». Ром пил Астахов в свой последний вечер на этом свете. Мы не смогли установить, где и с кем он его пил. Мы установили только, что в Заозерске рома в магазинах не было. Осталась самая малость: найти того человека, у которого ром был. Но малость эта лежала на другом краю пропасти, перепрыгнуть которую представлялось невозможным. И мне вдруг привиделся мостик — такая шаткая дощечка, ведущая в туманную даль. Дощечкой этой были слова таксиста, привезшего Астахова домой. «Не то он со старушкой пил, не то старушку хоронил...»

Продолжение следует.

СКАЗКИ БРЯНСКОГО ПАРКА

Константин СМЕРНОВ.
Фото Альберта ЛЕХМУСА.

В конце прошлого века здесь было старое купеческое кладбище с одиоглавой церковкой. Во времена Пролеткульта церковь превратили в некое подобие клуба, кладбище забросили, а потом город поглотив и пустырь и церковь с облупленными стенами, обступив их домами и домишками, а деревья, росшие здесь, вымахали в огромные, в два-три обхвата, вяза, сосны, ели. И никто из жителей Брянска не удивился, узнав, что на этом месте закладывается парк. Тем более, что к тому времени бывшая городская окраина стала центром большого промышленного города. А что же лучше, чем кусочек живой природы, волей случая застрявший здесь, сможет украсить лицо города? Но, наверное, так бы и остался этот малютка-парк заурядным городским садом с гипсовыми дискоболами и оленями, не начнись в эту пору в Европе так называемое «усыхание ильмовых» — древесная болезнь, пришедшая откуда-то из Голландии и не оставившая вниманием столетние вязы брянского парка. В разгаре лета высоченные деревья вдруг начинали желтеть, терять листву, обнажаться, сбрасывая кору, и в несколько месяцев цветущее дерево превращалось в сухостой. А сухостой, известное дело, под топор и в печку... Так и поступали здесь до поры, пока не пришла в голову директора парка В. Д. Динабургского замечательная мысль:

не рубить деревья, а здесь же, на корню, резать из высохших вязов... деревянные скульптуры. Так родился всемирно известный ныне Брянский музей деревянных скульптур — городской парк имени Алексея Константиновича Толстого.

Две реки текут по городу, питая зеленый покров древнего Брянска. И люди, живущие здесь, прекрасно умеют пользоваться полученным от природы богатством. Молодежь, комсомольцы Брянска — неременные участники субботников и воскресников по озеленению. Сейчас здесь создается «полоса отчуждения» между городом и железной дорогой, окружающей его, и ребята отлично работают на этом объекте. Главная достопримечательность Брянска — «Курган Бессмертия» — тоже дело их рук. Да и парку помогают ребята. Ведь они, пожалуй, самые частые гости здесь...

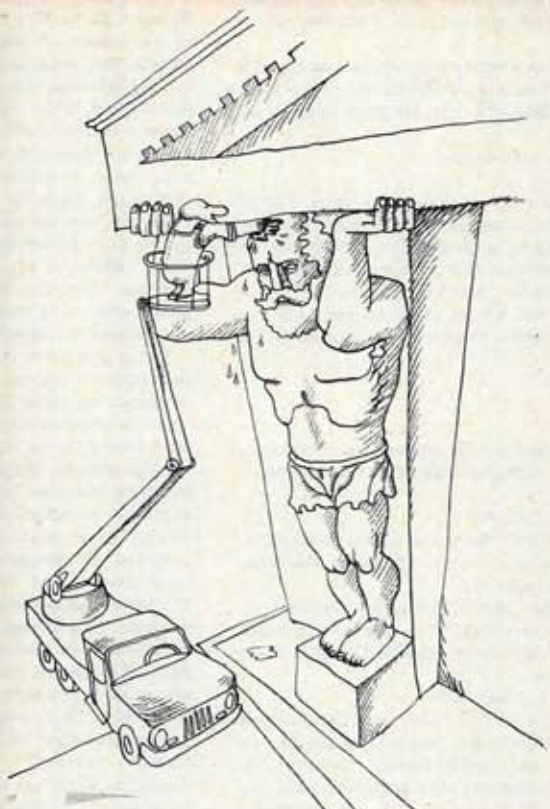
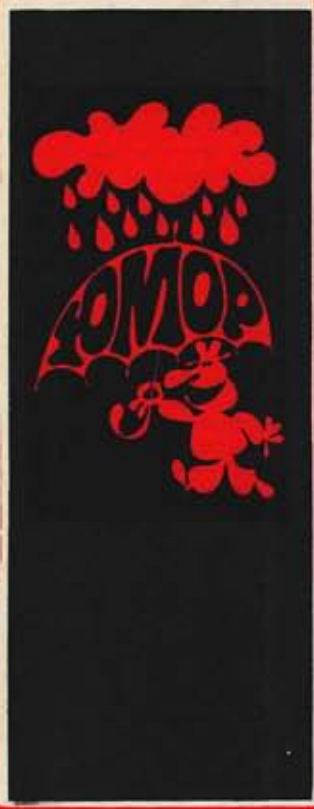
...Было довольно рано — день только начинался, и парк был совершенно пуст. Лишь несколько дворничих возились по соседству, сгребая в кучи опавшую, прелую листву. Сурово «посмотрел» на меня А. К. Толстой, чей бюст украшает парк, а чуть поодаль, между деревьев, я увидел сказочного дракона, наклонившегося над дорожкой. Рядом в окружении нескольких березок стояла гордость парка — «Брянская мадонна». Я подошел к ней ближе и поразился: Мать и Дитя в каком-то живительном спокойствии прикинули друг к дру-

гу. Поразился выражению лица мадонны, не просто ласковому, а будто впитавшему в себя нежность всех матерей мира. И я понял, как много значит материал — дерево. Ни мрамор, ни гипс не могли бы передать эту теплоту человеческого чувства, ожить под руками резчика. На постаменте были имена авторов: В. Михайлов, И. Жданов.

Сейчас в парке 22 скульптуры. Модельщики Виктор Михайлов и Игорь Жданов здесь начинали, работают они и сейчас. Три работы принадлежат ребятам из кружка резчиков городского Дворца пионеров — «Емеля», «Лель» и «Деснянка». Кстати, «Емеля» приобрел уже поистине мировую известность: недавно его фотографию напечатал один из журналов... Индия! (Европу и Америку брянские мастера покорили давно.) С 1960 года, когда была создана первая работа — говорящий «Сказочник», — коллектив парка увеличился. Здесь стали работать Борис Зубарев и Вячеслав Орлов. Они отдают любимому делу все свое свободное время.

Брянские резчики в своем творчестве идут от традиций древнего искусства, но деревянная скульптура парка — плод их собственного, самостоятельного мышления, порой принимающего самые неожиданные, смелые формы. «Двое», «Сорок первый», «Акула и Пересвет», «Непобежденные», «Золова арфа», «Материнство»

См. IV обложку.



Рисунки Виктора СКРЫЛЕВА и Владимира ИВАНОВА

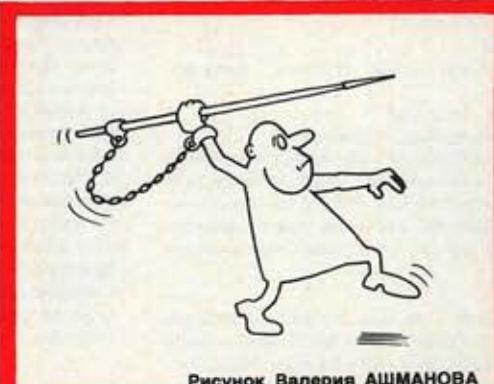


Рисунок Валерия АШМАНОВА

Рисунок Леонида ТИШКОВА



Наш адрес: 101457, ГСП, Москва, А-15, Бумажный проезд, 14. Телефон для справок: 253-30-87. Рукописи, фото и рисунки не возвращаются.

ИГРАЕТ ЧЕМПИОН СССР

Интересный поединок провели в последнем всесоюзном шахматном первенстве СССР по высшей лиге победитель соревнования экс-чемпион мира Тигран Петросян и мастер из Грозного Владимир Дорошкевич.



Перед вами позиция, возникшая после 21-го хода черных. Новый чемпион страны (у него белые) вначале развивает наступление на своем правом фланге.
22. h3—h4 Ka6—b4 23. Kf3—h2 Ce6—f7 24. Le1—c1 Fc7—b8 25. h4—h5! Cf8—g7 26. Cg2—h3 Kd7—f8 27. h5:g6 h7:g6.

Далее следует прорыв в центре, ставящий перед партнером нелегкие проблемы.

28. d4—d5! Le8—e7 29. Cb2—a3 Fb8—a7 30. Lc1—d1 La8—d8 31. Le2—d2 Фа7—c5 32. Ke3—c2 Cg7—h6 33. Ld2—d3 c6:d5 34. Cc3:b4! a5:b4.

Теперь Т. Петросян успешно осуществляет излюбленный им тактический прием—ради инициативы жертвует качество за пешку.

35. Ld2:d5! Ce6:d5 36. Ld1:d5 Fc5—c7 37. Kc2—b4 Kf8—e6 38. Kh2—g4 Ch6—g5 39. Ld5—d1 Le7—e8 40. Kb4—d5 Fc7—f7?

И более упорное 40. ... Fg7 не давало бы черным шансов на спасение.

41. Kd5:f6+! Kpg8—g7 42. Kf6:e8+, и черные сдались.



ВОСЬМОЙ ТУР

Мы завершаем публикацию заданий нашей шахматной олимпиады (см. «Смену» №№ 19, 21, 23 за 1975 г., №№ 1, 2, 3, 5, 6 за 1976 г.).

ЭТЮД—ВСЕГДА КРАСИВО!



Белые начинают и выигрывают (5 баллов.)

КАК БЫ ВЫ СЫГРАЛИ?

Ход черных. Как, по вашему мнению, должна закончиться борьба при наилучших действиях обеих сторон? (5 баллов.)



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, КТО...

...и с каким результатом завоевал победу на международном турнире в Петербурге в 1909 году? (1 балл.)

...за какую партию был удостоен первого специального приза «За красоту игры» на международном турнире в Москве в 1925 году? (1 балл.)

...входил в состав сборной СССР, впервые одержавшей победу на командном первенстве мира по шахматам? Когда и где состоялся этот «турнир наций»? (1 балл.)

НОВИЧКОВ—В ТУРНИРЫ!

10 баллов получит в свой актив участник нашей олимпиады, который организует и проведет классификационный турнир шахматистов-новичков. Как минимум в таком турнире участвуют шесть человек. Если играющих не более десяти, то они встречаются друг с другом по два раза. Если же в турнире не менее одиннадцати шахматистов, то они играют между собой по одной партии.

Те, кому удастся вовлечь максимально разрешаемое жюри количество новичков (две турнирные группы по двадцать новичков в каждой), кроме 10 баллов, получат в награду специальные дипломы «Смены».

Всем участникам турниров нашей олимпиады, набравшим 60 процентов от общей суммы возможных очков, присуждается четвертый спортивный разряд по шахматам. Вопрос о присвоении более высокого разряда (третьего или второго) жюри рассмотрит только в случае, если будут присланы все турнирные партии претендующих на это шахматистов.

Для того, чтобы жюри имело возможность обсудить итоги классификационных турниров олимпиады, каждому организатору нужно прислать итоговые материалы: таблицу результатов (в которой фамилии и инициалы играющих располагаются в порядке занятых ими мест, а при равном числе очков по алфавиту), заверенную печатью и подписями руководителей коллектива, в котором был проведен турнир, и организатора соревнования.

Как было обусловлено, если по тем или иным причинам участник олимпиады не сможет выступить в роли организатора классификационного турнира, разрешается выполнить компенсирующее задание—прокомментировать, пользуясь полной шахматной нотацией, партию, текст которой мы приводим ниже.

1. e2—e4 c7—c5 2. Kf1—f3 d7—d6 3. d2—d4 c5:d4 4. Kf3:d4 Kg8—f6 5. Cf1—b5+ Cc8—d7 6. Cb5:d7+ Kb8:d7 7. Kb1—c3 g7—g6 8. 0—0 Cf8—g7 9. Cc1—e3 0—0 10. f2—f4 La8—c8 11. Fd1—f3 a7—a6 12. La1—d1 b7—b5 13. a2—a3 Fd8—c7 14. g2—g4 Kd7—b6 15. g4—g5 Kf6—d7 16. f4—f5 Fc7—b7 17. Ff3—f4 Cg7—e5 18. Ff4—h4 Lc8:c3 19. b2:c3 Kd7—c5 20. Kd4—f3 Kc5:e4 21. Kf3:e5 d6:e5 22. Ld1—d3 Fb7—c6 23. Fh4—h6 Kb6—c4 24. Ce3—a7 Fc6—c7 25. f5:g6 Fc7:a7+ 26. Kpg1—g2 h7:g6 27. Ld3—h3 Kc4—e3+ 28. Kpg2—h1 Ke4—g3+ 29. Lh3:g3 Lf8—d8 30. Lf1—e1 Ke3—f5 31. Fh6—h3 Kf5:g3+ 32. Fh3:g3 Fa7—b7+ 33. Kph1—g1 Ld8—d2 34. Le1:e5 Fb7—b6+ 35. Kpg1—f1 Fb6—c6 36. Kpf1—g1 Ld2:c2 37. Le5—e1 Fc6—c5+ 38. Fg3—e3 Fc5—d5 39. Fe3—g3 Fd5—d2 40. Le1—f1 Fd2:c3 41. Fg3—b8+ Kpg8—g7, и белые сдались.

Письма в адрес редакции по восьмому туру следует посылать раздельно: первое (с решениями позиций и ответами на вопросы)—в период с 1 по 15 мая, второе (с итоговыми турнирными материалами или с комментариями к шахматной партии)—с 25 мая по 15 июня 1976 года.

В последнем письме на олимпиаду уточните, пожалуйста, свой домашний адрес, возраст, место работы или учебы и разряд по шахматам (если он у вас имеется).

Сдано в набор 18/II 1976 г. А 00880. Подписано к печати 4/III 1976 г. Формат 70 x 106 1/4. Усл. печ. л. 5,60. Уч.-изд. л. 11,55. Тираж 1200000 экз. Изд. № 756. Заказ № 1823. Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865, Москва, А-47, ГСП, улица «Правды» 24.

Сладка ягода

Из кинофильма «Любовь земная».
Песня—лауреат телевизионного конкурса «Песня-75»

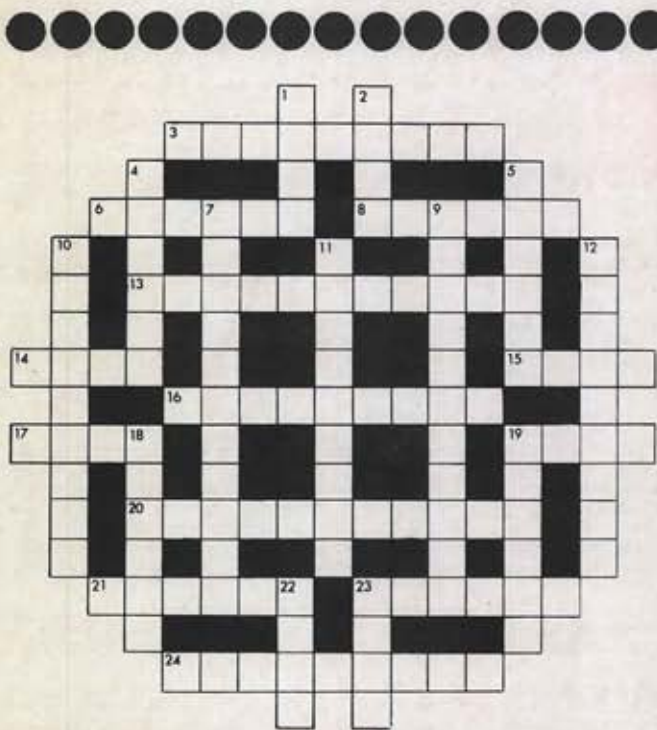
Сладка ягода в лес поманит,
Щедрой спелостью удивит.
Сладка ягода одурманит,
Горька ягода отрезвит.

Я не ведаю, что со мною,
Для чего она так растет:
Сладка ягода—лишь весной,
Горька ягода—круглый год.

Ой, крута судьба, словно горка.
Доняла она, изведа.
Сладкой ягоды—только горстка,
Горькой ягоды—два ведра.

Над бедой моей ты посмейся,
Погляди мне вслед из окна.
Сладку ягоду рвали вместе,
Горьку ягоду—я одна.

ЗАДУМЧИВО.



КРОССВОРД

«СМЕНА»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ
СПОРТИВНЫЙ КРОССВОРД

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД
НАПЕЧАТАННЫЙ
В № 6

По образцу рисунка, опубликованного на этой странице, составьте кроссворд на спортивную тему. В него могут быть включены слова и термины, связанные со спортом, физкультурой, туризмом, спортивной охотой и рыболовством, фамилии наиболее популярных спортсменов—чемпионов и призеров олимпиад, универсиад, победителей первенств страны и мира. Чтобы содержание кроссворда было более разнообраз-

ным, желательно при его составлении вносить, например, фамилии спортсменов или же названия спортивных обществ и команд и т. п. не более пяти раз. Наиболее удачные условия кроссвордов будут напечатаны в одном из номеров журнала «Смена». Победители конкурса будут награждены годовой подпиской на журнал «Смена». Присылать кроссворды можно до 31 мая, сделав пометку на конверте: «Конкурс кроссвордов».

По горизонтали:

- Филателия.
- Представитель.
- Станок.
- Расход.
- Рукав.
- Графтио.
- Орхидея.
- Пепел.
- Доброта.
- Галилей.
- Копна.
- Низами.
- Платье.
- Козлобородник.
- Сценарист.

По вертикали:

- Виадук.
- Стланик.
- Диктор.
- Трансформатор.
- Классификация.
- Штурмовик.
- Побережье.
- Ропак.
- «Волга».
- Пилотаж.
- Иглица.
- Подуст.

СКАЗКИ БРЯНСКОГО ПАРКА

Начало на 31-й стр.

да и все остальные работы умельцев парка — произведения искусства в самом высоком значении этого слова. И поистине неправдоподобным кажется тот факт, что каждые год-полтора на одной из аллей парка или просто между деревьями возникает новое, удивительной красоты и гармоничности творение резчиков, всегда поражающее оригинальностью замысла и тонкостью исполнения. Гармония в дереве...

Однажды на глаза мне попался рекламный буклет известной фирмы, производящей фотооборудование. Брошюрка была богато иллюстрирована и посвящалась лесу, дереву. Она так и называлась: «Дерево, кто ты?».

Попав в парк брянских резчиков, я сразу вспомнил название этой брошюрки. Наверное, небольшой коллектив парка знает ответ на этот вопрос, ответ, подсказанный им самой природой их лесного края.



«ПАРТИЗАНЫ»

«1941-й»



«БРЯНСКАЯ МАДООННА»

«ВОРОНА И ЛИСИЦА»

«АКУЛА И ПЕРЕСВЕТ»

